

Надежда
Чернова



ТАЙНЫЙ РОМАН

«ДРУГ № 1». ВИКТОР МАМЧЕНКО

Чёрными стрелами носились над садом дрозды – охотились. Пара. Где-то у них гнездо. Птенцы пищат.

Слава Богу, долгожданное лето! Солнышко рассиялось, разошлось, как в Малороссии. Глаза прищуришь – и кажется, видишь миллионы маленьких солнц. Поле подсолнухов за домом. На всю жизнь на ладонях осталось прикосновение их шершавых добрых листьев. Они – как ладони матери, шершавые от работы. Она обхватывала этими ладонями вёрткого непоседу Виктора и его сестрёнку Машеньку. И дети прижимались к матери с двух сторон, прятались на груди у неё, утыкаясь носами в пахнущую солнцем белую рубаху, длинную, льняную, поверх которой надевала она расшитую украинскую панёву. Как давно это было! В другой жизни, в другой стране – их больше нет, и никогда не будет. И жизнь чужая...

Боже мой, как звенят цикады! Точно это отзвуки горячей причерноморской степи...

Живут цикады днём. Растопленной смолою
Горячий сосен сок пьянит до песен их,
Не надо им тогда весёлых глаз твоих,
Не надо слёз твоих, ночей со звёздной мглою.

Они живут в раю. Им нас совсем не надо.
И нам они – к чему? Представь себе, что вдруг
Земля горит, беда, что всё – как ад вокруг,
А мы с тобою райского вкушаем сада...

Каждое утро Мамченко сидел в шезлонге у порога «козьей хатки» и слушал пение цикад, которые пересиливали память о пожарах Гражданской войны, о пропаде эмигрантской жизни. «Пропад» – его любимое словечко. И ещё – он наблюдал за жизнью своего кипариса. Молодое дерево заносчиво протыкало небо острой верхушкой.



И вот прошло несколько недель. Зелень на кипарисе повзрослела, огрубела, налилась тяжёлыми соками. Дрозд куда-то исчез, давно уже не появлялся. Осталась дроздица, которая прыгала вокруг птенцов – они пробовали летать, неуклюже переворачиваясь в воздухе. Отчаянно пищали, шлёпались в сырую траву. Дроздица – казалось Виктору – вскрикивала, оберегая их, а то – хохотала. И птенцы начинали смеяться, хлопать короткими крылышками. Один слётыш так осмелел, удачно приземлившись, что поскакал прямо к Виктору, вспрыгнул на порог хатки стоит, как дитя, и просит хлеба. Виктор отломил ему от своего куска.

– На, дурашка! Ну? Бери, бери!

Дроздёнок подскочил, бойко склевал крошки, и обернулся к саду, и кликнул всю честную компанию. Слётыши чёрными пулями брызнули из солнечных крон деревьев, заверещали, зашумели – вмиг растащили нехитрый завтрак соседа, странного человека, который день-деньской сидит в саду и ничего не делает. Иногда тянет из бутылки вино, бормочет какие-то слова, в которых угадывается музыка, или просто разговаривает с кем-то, невидимым, но близким для него. Он этого невидимого любит.

– Я так скажу тебе, Юрий: никогда сердечный Друг, а он для меня числится только с большой буквы, не может быть заменим! В труде, в творчестве, в дружеском обществе людей можно только смягчить горечь потери-разлуки. Да... Я одинок здесь. «И скучно, и грустно, и некому руку подать...» Но и в одиночестве есть занятие душе. Вот недавно мне пришлось думать о двух концертах Бетховена для рояля – о 4-м и 5-м. Четвёртое его concerto полно борьбы творческой души с несовершенным бытием, в пятом же – требование той же творческой души в совершенно организованном бытии своего продолжения, то есть творчества – в бесконечности...

Знаешь, Юра, я почему-то уверен, что мы с тобой обязательно встретимся. На чужой земле уже 45 лет я себя чувствую «дикарём» – самая земля не принимает!.. Одно только искусство, поэзия, но и то – только по-русски во мне звучит... Вот Ремизов. Едва жив, а всё пишет, пишет: и кажется, что пишет он, чтобы не умереть. Всё понимает о себе и о своём! Я рассказал ему о тебе и Николае Николаевиче (*Н. Н. Кнорринге. – Н. Ч.*). Он был рад. Внимательно выслушал, захлебнулся кашлем, отдышался и сказал: «А я вот...» И указал на постель. Вот и смотрю на него, как на себя в страшное зеркало... И тоже пишу, пишу, чтобы не умереть... И такая тоска – так домой хочу...

...Гуси дикие кричат,
Разогнали летней силой
Сновидений чёрный чад.

Крик их горд, живой тревогой
Предрассветный час притих:
Видно, русскою дорогой
Прилетела стая их.

Это краткое круженье
Птиц свободных в небесах
Было свет и пробужденье
В неожиданных слезах...

Вино кончилось. Иссяк и разговор, и видения. Дрозды улетели. Они уже вовсю носились в белесом от зноя воздухе. Кипарис молчаливо стоял погашенной свечкой, с оплывшей, узорной зеленью. Виктор прикрыл утомлённые веки. Хоты бы уж Еренька пришла, что ли, свежих газет принесла, вина... А, впрочем, к чёрту Ереньку! Стихи забрезжили, стихи – отдалённым гулом летней грозы перекачывались они где-то на самом дне души, в тайных глубинах, маня ускользящими музыкальными фразами, которые никак не удавалось ухватить. Только вроде приблизился: вот оно! Тут же растает, как сон. Помнишь нечто неопределённое, туманное, а что это – не знаешь...

...Будто море шумит за окном, за стеной,
 Будто сыплются звёзды на мачты и реи,
 И, приподнятый жаркой волною земной,
 Близко слышится голос поющей Миреи...

Только слов разобрать я никак не могу.
 Ну, о чём так поёт она? – Будто любима...

.....

Очарованный ею, ей в очи гляжу, –

И откуда такие огромные звёзды!

Сеет звёзды луна на морскую межу –

Вдоль Прованса – на вёрсты, прощальные вёрсты...

Виктор писал всегда тяжело, мучительно, до кровавых жилок в глазах, до сердечных болей, до обмороков. Он будто камни ворочал во рту, пока не перебарывал косноязычие. Говорят, библейский Моисей тоже был косноязычен, и мысли его передавал Аарон. А кому может передоверить поэт? Некому! Он одинок на своём пути: «И Вергилия нет за плечами...» Вот и Ходасевича это мучило. И каждый незаменим, даже самый маленький, хотя... Какой поэт согласится считаться «маленьким»? В минуты вдохновения всякий – велик, ибо – творец, ибо – допущен Небесным Творцом к таинству, к священному огню...

В стихах бывшего матроса Мамченко то и дело повторяются одни и те же образы: реи кораблей, звёзды, море, птицы. Очень много птиц! И саму Музу свою – «бездомную Музу», «Музу-эмигрантку» – видит он птицей. Иногда – Золушкой, которая «спешит умыться лунною водой». Но чаще всё же птицей – лебедем. Птицей, залетавшей к ангелам. Его «земная Муза – вечностью больна»...

* * *

В письмах Елены Люц я не нашла её стихов. Она сама говорит, что вроде бы потянуло что-то написать, да тут же и кончилось желание. «Таланта не хватает!» – вздыхала она. К тому же страшная усталость и занятость мешали ей, видимо, отдаться творчеству. И великая жертвенность, которая отнимала силы и физические, и душевные!

В письмах же Виктора Мамченко много стихов. Письма его вообще совсем другого содержания и слога. Это письма писателя (они напечатаны в журнале «Нива» (г. Астана) – «Звёзды в аду», № 3, 2008. Из них взяты мною мысли

В. Мамченко о дружбе и творчестве). Они великолепно написаны, насыщены размышлениями и талантливыми зарисовками природы, в них много информации о других русских писателях, оставшихся во Франции, о прочитанных книгах, о настроениях русской эмиграции тех лет. Мамченко с Софиевым обмениваются стихами, и Виктор разбирает подробно новые стихи друга, и рад его отзывам о собственных стихах. Юрий продолжает писать в парижские газеты, правда, теперь в основном очерки о советской жизни, и Виктор с гордостью за друга сообщает ему: «Здесь сильное впечатление на знакомых произвёл твой материал, который ты прислал. Многие не знали, что ты так талантлив... А один сказал: “Вот тебе и незамеченное поколение!” – имея в виду тебя и Илью (*Илья Голенищев-Кутузов*. – Н. Ч.) – вспоминая бездарную книжку Варшавского, в которой говорится о потерянном поколении. Книгу его я просмотрел: много имён, но вяло, бездарно написано, и прошла “не замеченной поколением”...»

Он всячески ободряет друга, который на чужбине активно печатал стихи, а на родине – пишет в стол, и кажется Юрию, что талант его иссяк. Виктор спорит с ним: «Ты пишешь, что счастлив тем, что всей душой отдался зоографии. Но неужели ты не тоскуешь о поэзии, о своём месте в ней, о своём праве и призвании? Знаю, что тоскуешь в одиночку, нет опоры, а Н. Н. (*Николай Николаевич Кнорринг*. – Н. Ч.) сам едва держится... Не знаю, как это сказать кратко и ясно – о литературном образе жизни. Прежде всего, надо войти в семью литераторов. Вспомни свой приезд из Монтаржи в Париж. Ведь ты же сразу пошёл знакомиться с нами, уже что-то делающими в Париже, – в наш Союз поэтов. Какие-то наши интересы ты тогда взял на свои плечи, в скором времени председательствовал, долго работал в правлении, и не всё равно для тебя было – кто, что и как работает... Без такой литературной жизни, будь у тебя хоть семь пядей во лбу, активное присутствие в искусстве немислимо. Опять же – не о «протекции» говорю, а о естестве, о природе, традиции всех искусств... Алма-Ата, как мне кажется, вообще не имеет традиций (если не водочная): уже трудно доказать кое-кому, что замечательный график может быть и замечательным поэтом. Они будут думать: “Чего там, он уже кушает свой хлеб от графической работы, для чего ему нужен ещё литературный стол?!” Потому-то и “зачахла” в тебе поэзия (чего не может быть!), и никак не потому, что ты был “мало продуктивен” (Бодлер, или Верлен, или Тютчев – писали не больше). Нет, всё же ты изрядная “шляпа” – да-с! Волевого начала в тебе ни на грош, а работник ты талантливый и, что тоже очень важно, – честный. Какого-то упорного стержня в тебе нет...»

В письмах своих Мамченко быта касается вскользь. Он его занимает только отчасти, когда создаёт неудобства и мешает творчеству, а болезни приводят в ярость, так как тоже мешают полноценно жить, а жить для Мамченко – писать стихи и размышлять. «...Почему-то я повсюду опаздываю, даже за своим “внутренним” не поспеваю... Правда, уж очень много я болею, болезнь тормозит все дела и помыслы, а в периоды “отпущения грехов”, т. е. в “нормальном состоянии” – всё равно какое-то клячеподобие...»

О многом говорят они с Юрием. И только никогда – о Елене Люц. Елены будто совсем не существует в природе. Ни разу ни словом, ни упрёком Виктор не напомнил другу о своей боли – о тайных отношениях жены и Юрия, хотя эта тайна была ему известна. Это мучило его до конца жизни.

Мужская дружба нередко сопряжена с любовью к одной женщине. Так было и у Софиева с Мамченко. Они были друзья-соперники. Но подобное соперничество, похоже, придаёт мужской жизни особую остроту, поскольку мужчины по природе своей охотники. И вообще, им непременно нужны победы перед женщиной и за женщину. Когда-то Виктор волочился за Ириной Кнорринг. Потом Юрий влюбился в Елену Люц. Они будто соревновались в первенстве, но в то же время – любили и друг друга.

Юрий о Викторе негативно говорит только в письмах к Елене, и то – как бы защищая от его тирании и жалея. А, например, в письме к зарубежному издателю одного просоветского альманаха он всячески хвалит Виктора, как великолепного поэта, и пытается доказать, что нельзя править его стихи, нельзя исказить замысел. Это оскорбительно и недопустимо. Надо немедленно восстановить строки, как было в оригинале.

Хочу заметить, что за себя (за стихи свои) Юрий никогда не мог постоять, и Виктор не зря вздыхает: «Нет, всё же ты изрядная “шляпа”...»

Но Виктор прав и в другом утверждении: Юрий предельно «честен в работе» и прежде всего – в творчестве. И его мемуары «Разрозненные страницы» дают портрет Мамченко неприкрашенным, как есть, – без дружеских комплиментов и слепой любви: «Виктор Андреевич Мамченко родился в городе Николаеве, где жили его родители, видимо, принадлежащие к мещанскому сословию этого города. Мамченко учился в реальном училище, но, похоже, не кончил его. Во время Белого движения пошёл матросом на военный флот и был эвакуирован в Бизерту. В Николаеве жила его сестра, с которой он после войны (1946–1947 гг.) стал переписываться. Она ему прислала посылку, но домой не звала. Из Бизерты в начале 20-х годов Мамченко перебрался в Париж и, как и большинство эмигрантов, устроился на физическую работу. Многие годы работал маляром...»

Работа Мамченко была сопряжена с опасностью для жизни, как и у Юрия Софиева. Об этом пишет из Парижа постоянный корреспондент Шанхайской газеты «Рубеж» Б. Унковский (1936 г.):

«Поэты – трудящийся народ. Почти все они зарабатывают на хлеб тяжёлым физическим трудом. Большинство – ремеслом маляра. Другие моют окна, как Юрий Софиев, Алферов, Дряхлов. Это очень трудная и рискованная, но хорошо оплачиваемая профессия.

...Работают, повиснув на верёвочной лестнице, на уровне седьмого этажа...

А маляры ходят по водостокам, опоясывающим дом под крышей, держась за карниз, часто над головокружительной бездной.

Рассказывают страшные истории. Однажды обломилась решётка, и один поэт полетел вниз. Неминуемо ждала смерть. Но, падая, он случайно зацепился кожаным кушаком за железный болт балкона и – спасся.

Жутко слушать Юрия Софиева, который уже несколько раз чудом спасался от смерти. Он моет стёкла около десяти лет, и всё не удаётся переменить профессию.

...Виктор Мамченко упал с высоты третьего этажа вниз, на тротуар... Поэт Дряхлов – тоже маляр – два года назад тоже получил тяжёлые увечья...»

Но, «окончив свою работу и сбросив рабочие блузы, рабочие вновь перевоплощаются в поэтов. Надо поистине удивляться их энергии, – продолжает Б. Унков-

ский, – только молодость способна на это: после изнурительного труда поэты посещают лекции, диспуты, писательские вечера. Всюду вы встретите их – на театральных премьерах, вернисажах, на балу прессы, на юбилейных ужинах. В гладко выбритых, элегантных джентльменах, пахнущих тонкими духами, не узнать тогда вчерашних маляров...»

«С этих же пор начинается его литературная деятельность, – пишет далее Ю. Софиев в своих мемуарах о Викторе Мамченко. – Мамченко, Юрий Терапиано и Юниус – три молодых литератора являются инициаторами молодёжной литературной организации “Союз молодых поэтов и писателей во Франции”. Ант. Ладинский, Вадим Андреев, Вл. Сосинский тоже энергично поддерживали это начинание. Мамченко примыкал к “левой” (литературной) группировке этого объединения, в какой-то мере претендующей на так называемую “заумную поэзию” (В. Хлебников и др.).

Видимо, с этого момента Мамченко резко порывает связи с морской военной средой Белого движения. Но он владел не столько продуманными убеждениями, сколько эмоциональными настроениями. В последующие годы он подпадает под влияние философа, писателя старшего поколения Льва Шестова. Как известно, Шестов был крупным литератором и значительным человеком, но на Мамченко оказывал, скорее, отрицательное влияние. Шестов был философ не только идеалистического толка, но и с сильными религиозно-мистическими тенденциями. Впрочем, по моим наблюдениям, эта дружба (Мамченко считал Шестова своим учителем, слушал его лекции) не только не внесла ясности в мышление Мамченко, но ещё большую путаницу.

В начале 30-х годов Мамченко становится завсегдатаем в воскресном салоне Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус, а также постоянным посетителем, может быть, и членом “Зелёной лампы”. *(Это была переключка с «Зелёной лампы» времён Пушкина. Также своего рода «тайное общество», где формировались новые взгляды – и литературные, и политические. – Н. Ч.)*

Мережковские собирали у себя на квартире (они сохранили в Париже, в Пасси, свою старую дореволюционную квартиру), вообще говоря, всех: некоторых старших писателей, писателей среднего поколения (Г. Адамович, Г. Иванов, И. Одоевцева, Н. Оцуп и др.), литературную молодёжь различных литературных и политических взглядов, а также политических и общественных деятелей. Явно правых литераторов и монархистов, кажется, у них не бывало, так же, как и деятелей Общевоинского союза. Бывали главным образом люди правоэсеровского толка – Керенский, Бунаков-Фундаминский, Зензинов и т. д.

Как известно, Мережковский был одним из ярких противников советской власти и любил говорить: “Хоть с чёртом, только против большевиков!” Однако за чайным столом у него молодёжь вела ожесточённые споры, и Мамченко тоже мужественно и независимо спорил, часто до скандалов, отстаивая свои взгляды...»

В дневнике 1962 года Ю. Софиев снова вспоминает о Дмитрие Мережковском – времён войны, о его слепой, патологической ненависти к советской России:

«Мережковский был болен ею. Это один из немногих русских писателей за рубежом, у которого Отечественная война, видимо, не пробудила никаких чувств патриотизма. Для него Россия обратилась в “великого хама”, и ненависть его носила сатанинский характер.

Этот маленький косоплечий человечек с горящими глазами был мне отвратителен. У меня было почти физическое ощущение, что из-под пиджака у него вот-вот вылезет облезлый дьявольский хвост. В этом хилом, тщедушном теле и вправду было немало огня и силы, но это был “сосуд ненависти”. И потому особенно отвратительным было – постоянное трепание Христа. Всё его христианство сводилось к “бичу”, к сцене “изгнания из храма”. Этим моментом он был совершенно зачарован...»

Да, в жизни Д. С. Мережковский часто бывал неприятен. Он был – разный. Над ним посмеивались. Его презирали. Им восхищались. Ему завидовали. Его обличали. Он был «сосудом грехов». Но откуда же тогда исходил чистый пламень таланта? А ведь Дмитрий Сергеевич был талантлив. И он знал любовь – и к матери, самую глубокую, и к избранным друзьям. Любил и жену свою, Зинаиду Гипсиус, никогда не расставался с нею, и минуты без неё жить не мог, прощал ей измены, слушался её советов и питался её творческими идеями, даря ей и свои – без счёта. Они стали одним целым, что случается нечасто, тем более в писательской среде. Значит, в «сосуде греха» была не одна дьявольская «пустота», но и «огонь, мерцающий в сосуде». Божественный огонь.

Об огне этом Мережковский довольно много думал и рассуждал в своих книгах, статьях, лекциях. Наверняка помнил утверждение Белинского, сказанное в оправдание творцам: «Уже по самому устройству своего организма поэт больше, чем кто-нибудь, способен вдаваться в крайности и, возносясь превыше всех к небу, может быть, ниже всех падает в грязь жизни. Но и самое падение его не то, что у других людей, оно следствие ненасытимой жажды жизни, а не животной алчбы денег, власти и отличий...»

И далее великий критик пишет вдохновенный гимн творцу, сам становясь поэтом, но заключает песнопение своё чёткой формулой, как всегда: «Какая цель поэзии? ...Поэзия не имеет цели вне себя, но сама себе цель, так же как истина в знании, как благо в действии...»

И никакой «алчбы денег, власти и отличий», чем живёт толпа, чернь, тварный мир.

Ах, «неистовый Виссарион»! По чистоте своей и бескорыстию он и других видел такими же. Алчба денег, власти, отличий и остального неудержимо владела и Дмитрием Сергеевичем Мережковским, и многими другими служителями Аполлона, пока он их не требовал к «заветной жертве».

Чехов в письме к брату своему объяснял, почему брату не даётся литературная стезя: для этого не хватает ему недостатков, он слишком хорош.

И Лев Толстой вздыхал: всё лучшее, что есть у писателя, уходит в творчество, и потому произведения его так прекрасны, а сам он – так плох.

Державин обожал почести, писал оды императрице и чуть не повесил семью будущего баснописца Крылова во время Пугачёвского бунта.

Сергей Есенин пьянствовал, шатаясь по «Москве кабацкой» и добиваясь славы любым путём.

Владимир Маяковский, Игорь Северянин, Павел Васильев тоже прославились эпатажем, делая это намеренно.

Пушкин, Достоевский, Некрасов, Адамович были игроманами и проигрывали большие средства. Зато Афанасий Фет отличался скупостью. О нём Лев Толстой,

которому Фет шил сапоги, с любовной усмешкой говорил: «Фетушка не пройдёт вокруг дома, чтобы не поднять копейчку». Фет женился на богатой невесте ради её денег, а любившая его девушка, чудесная, музыкально одарённая, которую и он любил, сгорела заживо.

Но писатели могли и всё раздать, как сделал это Иван Бунин, за короткий срок расточив свою Нобелевскую премию – и на друзей, и на чужих людей, например, на какого-то матроса-пьяницу, который попросил у него денег для дальнейшего питания.

Французский Гаргантюа, Александр Дюма, грешил чревоугодием. По преданиям, приехав в Россию, он посетил имение поэта-гражданина Некрасова и съел все его припасы, опустошив хозяйские погреба. Бедный поэт был потрясён, а мастер авантюрных романов ответил, наконец, на вопрос: «Кому на Руси жить хорошо».

И т. д., и т. п.

«После смерти Мережковского, у Мамченко установилась литературная и человеческая дружба с Зинаидой Гиппиус, хотя политически она на него не влияла, – пишет дальше в “Разрозненных страницах” Ю. Софиев. – В вышедшей после смерти З. Гиппиус книге-дневнике она называла Мамченко “друг”...»

Остановимся на этом эпизоде подробнее.

В письме к Полине Львовне Вайншенкер, другу и биографу писателя Антонина Петровича Ладинского, Юрий Софиев пишет так:

«...По многим причинам я терпеть не мог Мережковского, и потому бывал у них редко, и во время войны уже принципиально совсем не бывал, но справедливость требует упомянуть, что двери их воскресного литературного салона были широко раскрыты для молодёжи. И если не Мережковский, то З. Н. Гиппиус весьма “милостиво-благоклонно” относилась к каждому приходящему к ним. Среди её фаворитов был Виктор Мамченко. Но Виктор был человеком независимым и к тому же *enfant terrible*, резкий в суждениях. Горячий и несдержанный в спорах, но всегда искренний и глубоко убеждённый. Часто его “бурные выступления” кончались скандалами, в неподозрительной форме он обрушивался на Мережковского, на Гиппиус и на многих из присутствующих, решительно ни с кем и ни с чем, кроме своей горячей убеждённости, не считаясь.

Какой бы ядовитой и злой (простите мне это выражение) бабой Гиппиус ни была, но отказать ей в остром уме и пронизательности трудно, и она, конечно, сразу почуяла в Мамченко, в этом, повторяю, *enfant terrible*, натуру такого высокого духовного напряжения, такую “одержимость” к высокому и прекрасному, такую жажду истины, что, несмотря на все его выходки, сразу оценила его и в своём дневнике (опубликованном Вл. Злобиным, поэтом и секретарём, после её смерти) постоянно называет Мамченко “другом № 1”...»

Впрочем, в своём дневнике Ю. Софиев записывает следующее о мемуарах З. Гиппиус:

«...Времена меняются, и мы меняемся с ними вместе, и мне теперешнему очень трудно восстановить меня тогдашнего, чтобы правдиво рассказать о себе, о событиях, так, как я видел и чувствовал, воспринимал и понимал их тогда.

Помню впечатление от “дневника” Зинаиды Николаевны Гиппиус – когда он писался? Это сомнение вызвалось “слишком гениальным прозрением и ясновидением” и наталкивало на мысль о “заднем числе”...»

Виктор, похоже, гордился благосклонностью к нему «царицы парижских муз». Многие бы хотели оказаться на его месте. Правда, Георгий Адамович в своих «Комментариях» видел её несколько иначе, чем литературная молодёжь, которая нуждалась в оценках их творчества и поддержке известной поэтессы. Адамович писал о ней: «...Был воскресный салон Мережковских с Зинаидой Николаевной, которая понимала в поэзии всё, кроме самих стихов... – но тут же делает оговорку: – Здесь, однако, сделаем короткую остановку: если уж назван имя, поклонимся памяти Зинаиды Гиппиус, “единственной”, по аттестации Блока. Что было в ней дорого? Не капризно-декадентский разговор, извивающийся, как дымок её папироски, не разрозненно-приперчѣнные её “штучки” и “словечки”, не то даже, что она писала, а то, чем она была наедине или вдвоём, с глазу на глаз, без аудитории, для которой надо было играть роль... – Но правдивость Адамовича всё же пересилила деликатность перед памятью Гиппиус, и он продолжает так о ней, “единственной”: – Человек с редчайшими антеннами, мало творческий, если сказать правду, но с глубокой тоской о творчестве, позволившей ей с полуслова догадываться о том, что в полные слова не уложилось бы...»

Адамович, так же как и Зинаида Гиппиус, был кумиром и наставником литературной молодёжи, был властителем эмигрантских дум, и они с Гиппиус даже слегка соперничали.

Резкая, пронзительно-умная, «рыжая bestия» неслучайно выбрала Виктора. Да, он был тоже резок и беспощаден в суждениях, как и она, но это что касалось литературы и политических вопросов, а как человек – добрый и очень верный, искренний в дружбе. Вероятно, Гиппиус ценила в нём это, а не только «стремление к истине» и «натуру высокого напряжения». А главное, Мамченко не был испорчен парижской богемой, он был чист душой. Вечный ребёнок. Иногда, конечно, несносный ребёнок – *enfant terrible*, но всё равно – ребёнок. Такой вот детской чистоты как раз и не хватало Зинаиде Николаевне. Не знаяшая материнства и тоскующая по нему, она, вероятно, любила таких, как Мамченко. Так реализовывался её материнский инстинкт.

«Инфантильной детскостью» отличался и её муж, Дмитрий Мережковский, для которого она была заботливой и строгой мамочкой, командовала им, принуждая работать (хоть он и так был сверх меры работоспособен), только что плёткой не стегала. А может, и стегала. И не зря: он стал знаменитым писателем, написал отличные исторические романы, которые пользовались на Западе успехом и потом издавались и в России. И сейчас переиздаются.

Стояла Зинаида Николаевна и на страже режима. Ровно в семь вечера «воскресенья» у Мережковских заканчивались, Гиппиус стучала ногтем по ручным часикам и решительно выставляла гостей:

– Дмитрию Сергеевичу надо работать!

Разгорячѣнные посетители литературного салона шли в «извозчиье кафе», неподалѣку от дома Мережковских. А называлось это кафе так потому, что в обычное время его заполняли шоферы с ближней стоянки такси. После службы, сняв рабочие блузы, «извозчики» превращались в генералов, в депутатов Государственной Думы, в адвокатов, в помещиков, в родовитых дворян. Правда, теперь уже – бывших.

В «извозчиьем кафе» продолжались бурные споры. Они затягивались нередко до утра. И прямо из кафе (некоторые и жили там, не имея крыши над головой)

полусонные поэты отпраплялись на работу (у кого она, конечно, была) – мыть окна магазинов, подметать бульвары, дышать тяжёлым воздухом фабрик или крутить баранку такси.

Париж был равнодушен к высоким порывам их души. В Париже надо было выживать. Стихи не кормили. Творчеством могли жить только такие, как Мережковский и Гиппиус, и то не всегда. Но на их «воскресеньях» молодые поэты имели возможность утолить не только духовный голод, но нередко и желудочный – на стол подавались бутерброды и чай.

* * *

Жажда чистоты.

Зинаида Гиппиус нуждалась в чистоте. Она трепетно относилась к влюблённости своего мужа в молоденькую русскую девушку Марусю, которую тут же окрестила «капитанской дочкой» – так она была похожа на пушкинскую Машу Миронову, а чувство Дмитрия Сергеевича к ней называла «голубой любовью», то есть голубиной, чистой: «Я говорю об этом прелестном существе потому, что моя “капитанская дочка” была голубой любовью Дм. С-ча. В ней было для этого всё: нежная женственность, покорная беспомощность и даже какое-то вечное “девичество”. Я думаю, Д. С. и чисто русскую душу её ощущал... Он любил в жизни не многих людей. Но к кому бы и какая бы у него ни явилась любовь сердца, она никогда больше его не покидала. Я уж не говорю о его любви к матери. Ни ко мне... Прелестную же девушку с круглым, милым личиком он не забывал никогда...» (*Зинаида Гиппиус. Дмитрий Мережковский. Париж, 1906–1914 гг.*)

Поиски чистоты занимали и Юрия Софиева. Размышляя над «Традицией» В. В. Розанова, над его тезисом: «Человек во время совокупления становится Богом», Ю. Софиев записывает в своём дневнике:

«Или это “поглядывание” на образок Богоматери в изголовье, когда спал с женой?

Всегда вспоминаю “Портрет Дориана Грея” – о страстях и соблазнах...

...Одна из страшных утрат – утрата чистоты.

Пронзительнейшая печаль...»

Надо сказать, Белое движение, участником которого был и Юрий Софиев, потому назвалось «белым», что как раз жаждало чистоты – во всём. Философ Ильин в своей статье 1926 года «Белая идея» писал: «Белая идея требует, прежде всего, белого духа...» И, разворачивая свою мысль, говорил, что «белый дух» – это чистота помыслов, рыцарство, благородство, честь. «России нужны рыцари. В этом всё!» – утверждал он.

В те дни вспоминали Достоевского, который «Дон Кихота» Сервантеса ставил на первое место среди всех книг, написанных когда-либо, где главное – бескорыстное служение идее добра, любви и справедливости, чистота души.

В. В. Шульгин называл воинов чести, истинно преданных «белой идее», «рыцарственной горстью», и говорил, что противостояли ей не столько «красные», сколько «серые» и «грязные». Вот что ненавидели и не принимали никогда Юрий Софиев и Виктор Мамченко, вот против чего восстали лучшие люди их поколения, жаждущие рыцарства, – они восстали против «серых» и «грязных»!

Марина Цветаева в своём «Лебедином стане» писала о том же:

Бледный праведник грозит Содому
Не мечом – а лилией в щите!

Белое знамя с тремя золотыми лилиями – знамя Бурбонов, французской контрреволюции. Известно, что этот символ и название – «белая гвардия», по аналогии с французскими «белыми», появились в среде русских студентов-контрреволюционеров. Так назвал себя отряд, который сформировался в дни октябрьских боёв в Москве на территории университета (27 октября – 3 ноября 1917 года). «Белые» грозили вселенскому Содому!

Неслучайно Софиеву при рождении дали имя Юрий. Его небесный покровитель – св. Георгий. Георгий-Победоносец, поражающий змея, т. е. всё тот же вселенский Содом.

Имя стало судьбой.

* * *

Как всякий поэт, Мамченко, конечно, хотел славы, а через такую женщину, в чьём салоне собирались вершители эмигрантских литературных судеб, он славу мог получить. Кроме того, Зинаида Гиппиус давала ему и много знаний, образовывала его. Пробелы в образовании у Мамченко были, и он это понимал, и навёрстывал. Он был способный ученик, и его письма к Софиеву 50–70-х годов говорят уже о высокой культуре Мамченко, о самобытности мышления и широте познаний в разных областях.

К 1960 году восхищение его Зинаидой Гиппиус сменилось лёгкой иронией. Вот как он пишет о ней Ю. Софиеву в письме: «...З. Гиппиус, которая навешивала на себя девичьи бантики в свои 70 лет, “козликком” садившаяся на стулья, публично впадавшая в наваждения детства...»

Многое изменилось в Мамченко, и только страсть к спорам оставалась неизменной. Тут они расходились с Ю. Софиевым. Юрий пишет о себе Дм. Кобякову: «С очень ранних лет жизнь приучила меня к большой сдержанности и выдержке, и я, пожалуй, за это ей благодарен, но эта же жизнь и исковеркала меня немало... У меня есть большой недостаток – отсутствие “ершистости”. Правда, до тех пор, пока меня не разозлят...»

Может, поэтому, не считая добродетелью свою «сдержанность и выдержку», Юрий всё же осуждает горячность друга, доходящую до крайности. То и дело пишет он в дневнике о характере Мамченко: «...Виктор Мамченко – фанатическая, проповедническая натура, слепая и глухая к убеждениям и резонам противника. И потому Виктор никогда не был искусным фехтовальщиком в спорах, и потому так легко переходил на личные, оскорбительные выпады, провоцируя тем самым, в конце концов, на то же и противника. И высокое искусство спора обращалось в грубую и нелепую брань – утрачивалась самая возможность убеждения, и спор превращался в бессмысленное словоизвержение...»

Для себя же Юрий Софиев образцом мудрости считал высказывание Монтеня: «Тот, кто возражает мне, пробуждает у меня не гнев, а внимание: я влекусь к тому, кто противоречит мне, и тем самым учит меня».

Однако, сожалея о взрывном характере друга, Юрий всё равно любит его и уравнивает негатив позитивом:

«Но позднее Виктор всё-таки раскаивался и старался заглазить свою вину. Человек он был прямолинейный, но добрый, отзывчивый, может быть, не слишком умный, до известной степени наивный, но всегда верящий в Человека с большой буквы. Всю жизнь живущий напряжённой внутренней жизнью, бескорыстно искал он истину. Он был способен искренне возмущаться человеческой низостью и социальной несправедливостью.

(Следует добавить, что этим отличалась и Елена Люц – тут они с Виктором единомышленники. Она тоже остро, болезненно реагировала на примеры такой низости и несправедливости – смотрите письма! А сам Виктор писал в стихотворении «Неравенство»: «Ни равенства, ни братства с подлецом!..» – Н. Ч.)

Однако Мамченко стоял вне каких-либо эмигрантских политических группировок и всегда считал, что его орудие борьбы – литературное слово, всегда верил, что искусство должно и может преображать жизнь...»

В предисловии к одной из публикаций Юрия Софиева в журнале «Родина» (№ 5, 1964 г.) сказано:

«Поэт Виктор Мамченко родился в 1901 г. Его перу принадлежит шесть книжек стихов, изданных в Париже. Первый сборник под названием “Тяжёлые птицы” увидел свет в 1936 г., последний, шестой, “Воспитание сердца” – в 1964 г.

Виктор Мамченко, бесспорно, зрелый стихотворец. Поэтические произведения его реалистичны. Разумеется, являясь эмигрантом и живя среди них, он много стихов посвятил именно этой, близкой ему теме...»

В сборнике «Русский Париж» (издательство Московского университета, 1998 г.) в разделе «Personalia» перечисляются следующие книги В. Мамченко: «Тяжёлые птицы» (Париж, 1936), «Звёзды в аду» (Нью-Йорк, 1946), «В потоке света» (Париж, 1949), «Земля и лира» (Париж, 1951), «Певчий час» (Париж, 1957), «Воспитание сердца» (Париж, 1964).

И потом – 18 лет молчания, до смерти поэта. Книг больше не будет.

Цитату о В. Мамченко из журнала «Родина» 1964 года Ю. Софиев с гордостью за друга приводит в своём дневнике. И в письме к Дм. Кобыкову объясняет своё понятие «Друг»: «...Помнишь, Михаил Осоргин отрицал вообще множественное число от слова Друг – Друг и дружба не одно и то же, совсем не равноценное имеют значение...»

И Мамченко был для него – в единственном числе. И Елена Люц – в единственном.

«...Я помню, какое огромное праздничное торжество, до стыдливых слёз умиления, до страшного нервного возбуждения (я от радостной взволнованности не находил себе места), было у меня, ещё мальчика, в 7-8 лет, когда в гости приходили люди, которых любили, искренне и радостно, как чутко и радостно переживал я эту атмосферу любви, теплоты, дружбы. И как болезненно переживал я фальшь!»

Эти переживания детства протянулись через всю его жизнь и не оставляли его никогда. Виктор и Елена были для Юрия неизменным «праздничным торже-

ством», и он для них – тоже. И разлука их стала трагедией. Несмотря на то что Юрий Борисович был захвачен новой жизнью, окружён хорошими, интересными людьми, увлечён любовью молодых женщин, он чувствует себя одиноким, как и Виктор с Еленой. Они тоже переживают горькое одиночество – без своего заветного друга. Но они – вместе, а Юрий – один.

«Я... как это ни странно, очень одинокий человек – без личного счастья, и в старости это одиночество даёт очень сильно о себе знать...» – пишет Юрий друзьям в Медон.

Но что же он хотел? Он ведь выбрал свободу. Он отказался от женщин, готовых ради него пожертвовать многим. Такие женщины были у него и в Париже, и в Алма-Ате. А Виктор Мамченко принял любовь и Елены Люц, и Елизаветы Ионовой, и, в общем-то, был благополучен, что касается «личного счастья».

* * *

Б. Унковский пишет в газете «Рубеж» о Елене Люц (Майер):

«Супруга Виктора Мамченко – поэтесса Евгения Майер (*он перепутал её имя с отчеством: Елена Евгеньевна, а не Евгения.* – Н. Ч.) – раньше делала дамские сумочки и в этой области достигла виртуозности. Ея инкрустации ценились высоко. По случаю кризиса спрос на сумочки упал, и мастерская ея закрылась. Майер не растерялась – поступила в школу медсестёр милосердия и теперь в одном из французских госпиталей занимает пост заведующей амбулаторией, получает тысячу франков в месяц и может содержать и себя, и безработного свыше двух лет мужа...» (1936 г.)

«История этой связи очень странная, – вспоминает Ю. Софиев в “Разрозненных страницах”. – Началась она в Бизерте. И началась как обычная любовная связь. У Елены был муж, артиллерийский капитан. В Бизерте они разошлись. Но и с Мамченко официально не считались мужем и женой. В Париже вначале жили в одном отеле, но в разных комнатах. Они никогда не регистрировали брака. Мамченко считал, что вмешательство государства и церкви в личную жизнь оскорбительно для свободного человека. Кстати, Мамченко трудно было в то время назвать неверующим.

У обоих у них была своя личная жизнь, совершенно не зависящая друг от друга. Но Елена оставалась верным другом большого Мамченко, и всё время его поддерживала...»

А Софиева... Софиева некому было так поддерживать. Сын был занят своей – сложной и запутанной жизнью, где к концу 60-х годов случилось три брака, и два из них распались. Мимолётные женщины, к которым Софиева тянул неутомимый Эрос, быстро улечивались, едва начинался скучный быт, или же он сам их отстранял, если они настаивали на браке. И он в итоге оставался один. Он был один. Утешали иногда беседы с Н. Н. Кноррингом, но Николай Николаевич был слишком стар, сам жаловался на одиночество, сам нуждался в поддержке, а потом и вовсе умер.

С каждой такой потерей обостряется сиротство, сужается пяточек земли над вечной бездной, над которой все мы стоим. Но пока живы наши старики, есть ограда, есть защита, а уходят они – и ограда падает, и мы оказываемся беззащит-

ными перед любимыми ветрами, которые могут легко сдуть нас в эту бездну, – так нам кажется в минуты печали. Так казалось и Юрию Софиеву. Но он старался не унывать. В письмах к Мамченко он бодрится: «Но у меня счастливый (вероятно?) характер: я вечно окружён людьми благожелательными и хорошими, может быть, это не друзья, а приятели, но общение с ними в какой-то мере суживает “вакуум” одиночества. Большую часть жизни я наполняю работой, которую люблю и которая приносит удовлетворение, ибо, как она ни скромна, я знаю, что она нужна и полезна. Кроме того, самый процесс её непрестанно обогащает мои знания, а это так радует и утешает в жизни...»

Зинаида Шаховская (поэт, писатель, журналист, одно время возглавляла парижскую газету «Русская мысль») в книге воспоминаний «Отражения» (Москва: Книга, 1991) пишет о его «счастливом характере» ещё времён эмиграции: «Добрый приятель мой, Юрий Софиев, всю жизнь зарабатывал тем, что мыл стёкла больших магазинов. “Ведь скучно, Юрий?” – спросила я его. “Нет, знаете ли, ничего, стою на лестнице и читаю вслух стихи, то Тютчева, то Лермонтова”. Женолоуб и романтик, воспевающий дружбу и военное товарищество, которое участники бранных встреч не забывали (у нас это называлось: “говорить, опершись на лафет”), он никогда не унывал...»

Кстати, Зинаида Шаховская тоже не устояла перед мужским обаянием «женолоуба и романтика» Юрия Софиева. Ещё бы! Виктор Мамченко объясняет её чувственный порыв:

Виновата ли ты в чём,
 Что любовь любила?
 За твоим была плечом
 Вся земная сила.

О романе Юрия Софиева с Зинаидой Шаховской мне рассказывал мой муж, Игорь Софиев. И родственница Зинаиды Шаховской, вдова Владимира Варшавского, Татьяна Георгиевна, с которой я встретила однажды в Москве, в библиотеке-фонде «Русское зарубежье» (она приехала из Швейцарии, привезла в Россию архив мужа), при упоминании Юрия Софиева сразу оживилась, кокетливо замахала веером и воскликнула:

– Как же, как же! Юрочка! Помню. Такой был красавчик...

Зинаиде Алексеевне Шаховской адресует он 16 строк своего стихотворения «Выскальзывает жизнь из наших рук...»:

Выскальзывает жизнь из наших рук
 И с каждым днём всё больше беспокоит.
 Звено к звену плетётся цепь разлук –
 Печальнейших разлук с самим собою.

И всё стыднее говорить о том,
 Что холодно, что будет холоднее,
 О том, что очень трудно жить вдвоём,
 Но одному, мой друг, ещё труднее.

Уже о том, что некуда бежать
От похоти тупой и торопливой –
О том, что отвращенье и гадливость
Мне с каждым днём труднее побеждать.

А спутники? – Не видно и не слышно!
И вот о том, что в тридцать с лишним лет,
Лет беспощадных, ничего не вышло,
И счастья не было, и нет...

Paris, 9 ноября 1932 г.

И в 31-м году он ей писал: «Я начинаю верить в Вашу характеристику русского Парижа и русского Брюсселя – глядя на Вас, уже несколько часов и не без некоторого изумления: я не знаю, что значит Зинаида, но Ваше имя – Жизнь. Я искренно рад, Зинаида Алексеевна, что с Вами так неожиданно познакомился».

* * *

В одном из своих писем Виктор Мамченко цитирует строфу из давнего стихотворения Юрия Софиева:

Как трудно жить с растерянным сознанием,
Как трудно жить без настоящих дел.
Должно быть, одиночества удел
Судьбой дарован нам, как испытанье...

В книге «Годы и камни» Ю. Софиев стихотворение это, написанное в 1935 году, посвящает Виктору Мамченко, и оно звучит несколько иначе (видно, Виктор цитировал неточно):

Нам трудно жить с растерянным сознанием.
Нам трудно жить без настоящих дел.
Быть может, одиночества удел
Судьбой дарован нам, как испытанье.

Мы изменить не в силах ничего.
И, может быть, и изменять не нужно.
Не утешает ровно никого
И наша утешительная дружба.

И с каждым днём, и с каждым новым годом
Теряем тех, с кем было по пути.
А нашу вынужденную свободу
Всё безотрадней, всё трудней нести.

С отчаяньем, иронией, сомненьем,
Друг дорогой, почти не стоит жить.

Почти угадываем, в чём спасенье,
Но нет ни сил, ни мужества любить...

В письме к Елене Люц 1962 года Юрий Борисович как бы продолжает это стихотворение, написанное в молодые годы. Теперь ощущения другие: «Ух, и сил было столько, что казалось нелепостью возможное их иссякание. А разговоры об одиночестве – были одним кокетством...» Теперь же, в 63 года, «оно перестало быть кокетством – стало настоящим... Вероятно, это самое трудное на последнем этапе наших дорог – наше одиночество...», когда, в самом деле, всё меньше сил, но невероятная потребность любить и быть любимым. Когда осознана великая ценность любви.

И ещё одна запись: «...Ощутил отсутствие “среды” (литературной, парижской), отсутствие Медона, в какой-то мере “моей трибуны”, а не только Виктора... Это я случайно снял с полки Бодлера, и вдруг затопила какая-то смутная грусть – как бедно, как упрощённо мы живём, в смысле интеллектуальном и эмоциональном (время-то, конечно, очень интересное, но не об этом разговор, о людях), как я сам огрубел и не похож на того, 20-х и 30-х годов Юрия. И нет никакой возможности восстановить себя, того, что бродил по Люксембургу и останавливался у бюста Бодлера...»

А вот запись в «Илийской тетради». Он в научной экспедиции Института зоологии. Развлечений мало, но бывает кино. И в сельском клубе он, конечно же, немедленно замечает «славную женщину»:

«...А когда выходил, заметил, что за мной сидела славная женщина, с коротко, по-мужски, подстриженными волосами. Она шла впереди с подругой. Голос – богатый интонациями. Я их обогнал. Глупо, что я обращаю внимание на такие вещи!

А придя на базу, подумал: как хорошо было бы начать жизнь сначала! И понял – лучше, что не хожу в кино, в театры, и вообще не вылезая из своей берлоги – жизнь ограничена рабочим столом и письменным столом дома. Настольная лампа. Оказывается, так меньше чувствуешь, что жизнь прошла, меньше чувствуешь своё беспросветное одиночество...»

Но он поэт, и одиночество – необходимая часть его творческого бытия. И вот уже печаль начала преображаться в поэтические образы, в звуки иной, гармоничной жизни:

«...Откуда-то, издалека – ночные песни. Звонкие девичьи голоса... И уже когда лёг, случилось неожиданное стихотворение. Встал, зажёл свечу и записал его. Побоялся на утро забыть.

...Как странно следить за тенью,
От меня ускользающей в ночь.
Многих, многих моё ослепленье
От меня уводило прочь...»

В ту ночь он сочинил несколько стихотворений, о которых потом записал в дневнике:

«Странное дело – всю жизнь я писал строго выдержанными, правильными размерами, а сейчас хочется их ломать без всякой системы, “как поётся”. Стихи “так себе”, но с какой-то неопределённой грустью, может быть, с внутренней

взволнованностью “второго плана”, “подтекста”. Стихи ведь в общем не о любви, а о человеческой жизни.

Удивительнее всего, что я их опять пишу. А может быть, потому что в эти пятнадцать дней “ушли все заботы”. И я наедине с природой. В кажущемся безделье (пушкинская “праздность” необходима творчеству). Хотя после каждого (*стихотворения. – Н. Ч.*) кажется, что последнее, что после него – ахматовская “непоправимо белая страница”.

Впрочем, и Ахматова после “непоправимо белой страницы” пишет и пишет себе на здоровье! То же у Пастернака:

Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.

Но это не кокетство. Это верное и подлинное чувство поэта, а не версификатора. У версификатора его не может быть. Этот строчит – будь здоров! На всякий очередной случай.

Космонавт – даёшь космонавта!
Уборка урожая – даёшь урожай!
Борьба за мир – даёшь борьбу за мир!
Куба – даёшь Кубу!
Лумумба – даёшь Лумумбу!

Словом, эти реагируют на современность автоматически, незамедлительно и в полной мере. А сколько бумаги уходит на эти “ложноклассические” вирши. И какое беспощадное отношение к читателю. Впрочем – читают ли?..

...Мне, как мне кажется, удаются концовки, две последние строчки – они бывают лучше всего стихотворения: “Какая это мутная тоска, / Так унизительно искать бессмертья...”, “Чтобы в последней написать строке: / Земную жизнь любить не перестану...”, “Любил, как в речи, так и на бумаге, / Простые и наивные слова...”, “И даже ты ведь так и не узнаешь, / Как я томился, бедствовал, любил...” И т. д. Пришло в голову!..»

Всё это Юрий Софиев напишет потом Мамченко. И тот горячо отзовется на переживания друга, а его слова о том, что стихи «илийские» – «так себе», горячо опровергнет и вновь назовет Юрия большим поэтом.

Но Юрий томится. Он снова пишет другу горькое признание:

«...Вообще-то загрустил я в последнее время с литературными делами моими. Стал собирать свои стихи. Кое-что начисто забыл, ну а то, что переписал в тетради – обречено лежать под спудом и бесследно исчезнуть со мной вместе или тотчас же после меня.

Без следа! Без надежды на отклик и встречу.

Помнишь, рассказ Андреева (Леонида) о писателе, умирающем от расширения сердца и о его книге, которая пошла на обёртку селёдок? Но ведь она всё-таки прошла через типографский станок! Я плачу за беспечность. Всё не хотел спешить, не хотел торопиться. Успею, мол! Ты умнее и счастливее меня – у тебя пять книг!

А мне ведь и читать-то некому. Просить никто не просит, а сам я никогда не навязывался.

Часто возвращаются ко мне пережитые мною “видения мира”:

...Прохладный вечер ясен и глубок.
Синеет дым над островерхой крышей.
Большие птицы, знающие срок,
Летят на юг. Протяжный крик их слышен.

Когда-нибудь, устав от перемен,
Затягиваясь крепкой папиросой,
Я вспомню плющ средневековых стен
И синий дым над этой крышей острой.

Простой закат, зубчатый небосклон
И городок с вечерними огнями,
И заунывный сумеречный звон
“Ангелюса” над сонными веками...

И ещё:

...Синий дым над острою крышей,
В том же зале топят камин.
Так же чётко и резко слышен
Каждый звук вечерних долин.

* * *

Осенним холодным пламенем
Охвачено небо кругом...
Крест над озером – мшистый, каменный,
Стёртая надпись на нём.

* * *

И над тёмной зеленью сада
Потухнет осенний закат...

Всё это конкретные образы навсегда, живые и запечатлённые в памяти. В частности это – Château-Renard. Эти видения милой Франции на всю жизнь заполнили душу, но всё же не вытеснили из неё целый сонм и других видений. И вот, последнее, самое короткое стихотворение:

Вот так и жизнь. Суровая, простая,
Лишь озарённая сияньем слов,
Как синий дым восходит ввысь и тает
В безмолвии осенних вечеров...»

(Одну из своих рукописных книжек Ю. Софиев назовёт «Синий дым». И сюиту, посвящённую своей юношеской любви, тоже – «Синий дым», потому и том его избранных стихотворений, изданный мной в 2013 году, я назвала «Синий дым». – Н. Ч.).

«...Иногда, и часто очень, гложет сомнение – и впрямь – всё написанное ничего не стоящая чепуха, никакая жизнь в них не отражена.

Но вот на днях попались сборники наших алма-атинских столпов – Кривощёкова, Снегина. Товарищи не только признанные, но и руководящие – у кормила и в Союзе писателей, и в редакции “Простора”. После чтения подумалось: у простачка, естественно, всё легко и просто. Но через какую глубину и сложность должен пройти подлинный поэт, чтобы выстрадать и заслужить право на подлинную, глубинную, прозрачную простоту.

Кто же из них тронут вечностью? Кому нужна вся эта жалкая белиберда?

И чтобы проверить себя, снял с полки Блока, Ахматову, Тютчева, Лермонтова, Анненского и, между прочим, Тебя.

И сказал: нет, брат, врешь! Не обманешь! Поэзия есть поэзия, и она нужна человеку, как воздух.

А Кривощёкова и Снегина, и иже с ними, имя им легион – извините!»

Вот! Софиев держит книги Мамченко на одной полке с Блоком, Тютчевым, Лермонтовым. А главное – он в друге видит подтверждение своей детской уверенности, что «хороший писатель должен быть непременно хорошим человеком, каким был, например, Чехов».

В письме к Н. П. Смирнову, в Москву, он это пытается доказать:

«Кстати, дорогой Николай Павлович, меня очень огорчило одно явное недоразумение, которое я хотел бы рассеять. Говоря о стихах Мамченко, вы пишете, передавая будто бы мои слова в чужой интерпретации: “Стихи его выше моего понимания”. Это вряд ли справедливо.

Тот, кто Вам это сказал, явно меня с кем-то перепутал. Я даже подумал: “Кто же «из нас» мог так отозваться о Мамченко? Пожалуй, Голенищев-Кутузов, может быть, Н. Н. Кнорринг?”

О “неоперившихся” стихах Виктора, думаю, ни тот, ни другой сказать этого не мог. Что касается меня – дело обстоит так: я связан с Виктором 35-летней, очень крепкой, искренней, не только литературной, но и глубоко человеческой дружбой, и даже человеческой любовью.

Эту “руку дружбы” Виктор протянул мне при первой нашей встрече, т. е. при первом же нашем споре, ибо спорили мы с ним всю жизнь, но спорили мы не потому, что в разные вещи верили, а потому что были нам дороги одни и те же ценности. Мы были очень не похожи “по манере и стилю” в поэзии, может быть, и в жизни, но всегда ценили друг друга, бережно и внимательно относились друг к другу.

Виктору свойственна – и в этом его органическая оригинальность – “высокая косноязычность”, она очень сильно сказывалась в его длинных ранних стихах, но и мимо них нельзя пройти равнодушно. Критики делились на два лагеря – одни яростно его отрицали: Ходасевич, Голенищев-Кутузов и проч., другие видели в нём подлинного поэта, глубоко оригинального, со “своим” голосом: Георгий Адамович, Мочульский, Гиппиус, Георгий Иванов и др.

Но стоило узнать Мамченко как человека – он неизменно оставлял в душе глубокий след. И об этом свидетельствуют такие люди, как Лев Шестов, А. М. Ремизов, З. Н. Гиппиус (хотя и стерва, но умная женщина), Адамович, Мочульский и многие другие. Редко можно встретить человека, который бы с такой яростью,

искренностью и прямоотой, абсолютно не считаясь с последствиями, а кстати, и формой выражения, защищал свои верования, как бы стремился к правде и чистоте.

Как-то во время войны, в Париже, Виктора пригласили впервые в одну семью, где собирались литераторы, поэты, художники, учёные, политики. Это была семья профессора Г. П. Федотова (Г. П. один из “легальных марксистов”, сподвижник Н. А. Бердяева, С. С. Булгакова и т. д. – сам очень талантливый человек) – семья которую я очень любил и с которой был очень близок. Меня на этом вечере не было. И когда я встретился с Еленой Николаевной Федотовой, она мне сказала: “Вот, опять поленились прийти к нам, а у нас был Мамченко, если бы вы знали, на какую высоту он поднял беседу и споры”. А Елена Николаевна на своём веку повидала немало замечательных людей.

Мамченко принадлежит к тем поэтам, которые не застывают в определённом, выработанном ими “штампе”. Он всё время рос и, вырастая, менялся, однако оставаясь самим собой. И через вначале, может быть, очень косноязычную сложность шёл к чистой ясности и насыщенной простоте.

Я не знаю, видели ли Вы его предпоследнюю книгу «Певчий час», в ней есть прекрасные стихи!

Кстати, перечитываю сейчас дневники моей покойной жены Ирины Кнорринг. Вот один из дней большой давности, от 21/II/1927 г.:

“...После «Вечера поэтов» пошла в Ротонду. Юрий (это я) с Мамченко просто в любви объяснялись друг другу. Я поняла, что безумно ревную Юрия к «Союзу поэтов», к Мамченко, к поэзии. А Юрий только и говорит, что о Мамченко, да о стихах...”

(Надо сказать, что Мамченко так же ревновал друга, когда тот решил жениться на Ирине Кнорринг, и даже попытался расстроить их брак. Ирина, раскрыв его коварный замысел разлучить её с Юрием, была в гневе. Она потребовала от мужа прекратить все отношения с Виктором и запретила Мамченко приходить в их дом. И только спустя время дружба возобновилась, и все простили друг друга, как и бывает при настоящей любви. Думаю, и Елену Люц Юрий Софиев любил не только саму по себе, но ещё и как часть Виктора Мамченко. – Н. Ч.)

Пишу вам ради восстановления истины и чтобы рассеять очень огорчившее меня недоразумение. С Мамченко у меня были и очень сложные, и подчас запутанные отношения в жизни, много больше четверти века прошли мы рядом, плечо к плечу, была у нас глубокая потребность делиться и исканиями, и сомнениями (причём спорили мы иногда с пеной у рта), и, убеждён, мы были нужны друг другу. И только с Виктором (за рубежом, вместе, мы обрели потерянную было Родину) за эти девять лет моего пребывания на Родине я регулярно переписываюсь, всё время поддерживая духовную связь, потребность в которой мы испытываем, думаю, оба. И с каждой его новой книгой я всё больше люблю его стихи, не только потому, что, на мой взгляд, они прекрасны, но очень близки мне по духу...»

И ни тени зависти: ведь у В. Мамченко выходит на Западе книга за книгой, критики пишут о нём, а у Ю. Софиева на Родине – ни одной. Ни одной книги не удалось ему издать при жизни на Родине, только несколько журнальных публикаций. Он сшивал в самодельные сборники листки бумаги, переписывал туда новые стихи, прятал в стол.

И Виктор пишет Юрию в одном из своих писем: «Милый друг, как бы я рад был – знать тебя литературно счастливым! – На счастье ты имеешь полнейшее право! Я ведь много читаю...»

Это были лучшие моменты дружбы, которые и спасали от горьких сомнений. А сомневаться было в чём.

В своей статье «О молодой эмигрантской литературе», к которой в 30-е годы относились и Юрий Софиев с Виктором Мамченко, Гайто Газданов откровенно и прямо говорил: «За шестнадцать лет пребывания за границей не появилось ни одного сколько-нибудь крупного молодого писателя. Есть только одно исключение – Сирин (*Сирин – псевдоним писателя Владимира Набокова. – Н. Ч.*)... Вся остальная “продукция” молодых эмигрантских литераторов может быть названа литературой только в том условном смысле, в каком говорят о “литературе по вопросу свёклы” или о “литературе по вопросу о двигателях внутреннего сгорания”, т. е. о совокупности выпущенных книг, в данном случае имеющих некоторый, их объединяющий, беллетристический признак... Не надо требовать от эмигрантских писателей литературы – в том смысле, в каком литературой называли творчество Блока, Белого, Горького... Выполнение этого требования не только непосильно, но и невозможно...»

Вячеслав Костиков в книге «Не будем проклинать изгнание... Пути и судьбы русской эмиграции» (Москва: Международные отношения, 1990) тоже об этом говорит, добавляя, что «длинная череда литераторов, каждый из которых в какой-то момент кипения эмигрантской жизни был обласкан “мэтрами” или критикой, потом канул в безвестность», а всё потому, что «их воспоминаний о России не доставало, чтобы ими можно было жить, а писать на “французскую” или “английскую” тему они не могли: не хватало традиции, знания местной жизни, мешало отсутствие связей в сложном литературном мире Парижа, велика была и конкуренция “своих”... Русские жили как бы в своеобразном культурном гетто...» Комплекс неполноценности – характерная черта поколения эмигрантских писателей 30-х годов, утверждает он. К этому поколению, как я уже говорила, относились и Юрий Софиев с Виктором Мамченко. Они, конечно, не были “литературой по вопросу свёклы” и, несомненно, стояли выше таких литературных “столпов” на Родине, как Дмитрий Снегин, Леонид Кривощёков и иже с ними – светлая им память! – но всё-таки значительно уступали писателям старшего поколения русской эмиграции, которые прославились в России ещё до революции и вернулись классиками в наши дни. Но и у Юрия Софиева с Виктором Мамченко есть своё место в русской культуре – это уже тоже, по прошествии времени, очевидно. И после долгого забвения о них начали говорить на Родине. Они вошли в списки «Возвращённых имён».

* * *

Их современник, Юрий Иваск, пытался заглянуть в будущие времена, понимая, что «гадать о том, что останется от молодой эмигрантской литературы, ещё слишком рано», но он спорил со скептиками, которые считали, что в эмиграции русской литературы нет и не может быть. В союзники себе Иваск призывает молодого философа и литературного критика Николая Рейзини.

«Многие утверждают, – писал он, – что творческая работа в неестественных условиях эмиграции невозможна, мне думается – это не совсем верно, должно

всё же помнить, что “дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит”.

Обречённые на эмиграцию, то есть на несчастье, зарубежные поэты (как и художники, учёные), – продолжает Ю. Иваск, – творили, творят. Полная оценка этого творчества – удел будущих, далёких и невообразимых для нас русских читателей. Но, думаю, справедливо было бы признать, что самый факт эмиграции обогатил русскую поэзию “новым трепетом” и – следовательно, наше несчастье было одновременно нашей удачей» (из статьи Владимира Варшавского «Незамеченное поколение»).

И ещё от одной цитаты не могу удержаться. Она отвечает на вопрос, чем же ценна молодая эмигрантская литература, выразителями которой были и Виктор Мамченко с Юрием Софиевым. А процитировать я хочу Бориса Поплавского, автора статьи «Вокруг “Чисел”». «Числа» – журнал литературы и критики под редакцией Николая Оцуца, который культивировал такое направление, как «Парижская нота». Он стал основным печатным органом писателей-эмигрантов «незамеченного поколения» в 1930–1934 годы. Слова Б. Поплавского звучат как манифест этого молодого, «незамеченного поколения» писателей – не замеченного знаменитыми «стариками». Потом-то они их заметили и даже признали, а в начале 30-х не принимали всерьёз.

«Мы – литература правды о сегодняшнем дне, – возглашал задиристо Б. Поплавский, – которая, как вечная музыка голода и счастья, звучит для нас на Монпарнасском бульваре, как звучала бы на Кузнецком мосту, только что здесь в ней больше религиозных мотивов и меньше лёгких халтурных денег, меньше юбилеев, авансов, меценатов и, слава Богу, меньше литераторов, но зато больше мужества, высокомерия и стоической суровости.

Что бы ни говорили литераторы со слезой, как бы ни заполняли своими бесконечными описаниями берёзок эмигрантские газеты, литераторы поколения “преступления” (то есть потери России) всё больше теряют почву под ногами, люди же поколения “наказания” (то есть сформировавшиеся в железном веке расплаты за неудачу – вину отцов) выжили, приспособились к жизни и принялись за работу...

“Числа” – журнал авангардистов новой послевоенной формации, это не формальное течение, а новое совместное открытие, касательное метафизики “тёмной русской личности”, следственно, метафизики счастья, ибо личность – свобода и жизнь – счастье равнозначные понятия... “Числа” есть атмосферное явление, почти единственная “атмосфера безграничной свободы”, где может дышать новый человек, и он не забудет её даже в России...»

Нет доли сладостней – всё потерять,
Нет радостней судьбы – скитальцем стать,
И никогда ты к небу не был ближе...

Так писал Г. Адамович, благодарный Богу за выпавшие испытания. Лишения и потери были вознаграждены тем особым, магическим воздухом свободы, которым дышали русские поэты в Париже. Свобода была, конечно, и тут относительная, но, как признавался Василий Яновский в «Полях Елисейских», всё же во Франции, в отличие от России, тем более советской, чувствовались ещё «потoki

правободы, из которой мир спонтанно возник», и потоки эти чудесным образом преобразовывали жизнь: «будничную и праздничную, личную и общественную, временную и вечную...»

* * *

Интерес к русскому зарубежью нынче возрос не только потому, что пришла пора вернуть из забвения часть русской культуры, утраченную после революции и Гражданской войны, но и потому, что с развалом Советского Союза многие из нас тоже стали «русским зарубежьем», стали иностранцами для России, «другими русскими», странными и чужими. На каждом из нас ответ той страны, в какой мы оказались. И тут возникает немало совпадений с прежним русским зарубежьем, много похожих чувств и потрясений.

Мой документальный роман и об этом тоже.

МУЗА БЫТА. РАИСА МИЛЛЕР

Всю ночь пели соловьи и благоухали звёзды «ночной красавицы» в палисаде, но это не добавило поэзии и не восстановило расстроенное состояние Раисы Николаевны Миллер. Прodelать такой путь – от Франции до Казахстана, так потратиться, и что в результате? Она, конечно, готовилась к бедности, к аскетизму быта дорогого Юрочки, но чтобы такое! Убогий барак на городской окраине, в котором несметное количество жильцов, и столько же клопов. Узкая тропа к бараку, которую тут зовут «тропа любви», потому что вдоль неё стоят дощатые уборные, ужасно грязные внутри, с непристойными рисунками на стенах. Юрочка обитает в тесной комнатке, запущенной, неудобной. Он ещё был и удивлён её возгласами об этом, разводил руками:

– А я к твоему приезду тут всё прибрал, неделю старался!

Боже! Что тогда тут было до этой приборки? Ружьё висит на стенке, прямо над кроватью. Раисе Николаевне всё время кажется, что оно непременно выстрелит, как в пьесах Чехова. Ружьё французское. Он с ним на охоту ходит. Стол завален бумагами, раскрытыми книгами, окурками папирос, изображениями отвратительных тварей, которых он рисует для своего Института зоологии. стакан из-под чая стал коричневым. Похоже, его редко моют. А серебряный старинный подстаканник – почернел.

Так, а это что? Надо же, да ведь это та самая серебряная ложка, с витой ручкой, и на ней инициалы и дата: «Ж. С. 1906, 26, Y.». Эту ложку она видела у Юрочки в Париже! Инициалы означают: Жорж Софиев, а дата – день, когда ложка была ему подарена. Не указано только место.

«А место было такое, – рассказывал ей Юрий, – Широкая улица, дом 11, Петербургская сторона, Санкт-Петербург. На этой улице и в этом доме, – говорил он, – проживала моя прабабушка Аня со своим мужем, Лукой Спиридоновичем Ильяшевич-Кошеринным». Да, да, она вспомнила этот Юрочкин рассказ о богатых петербургских родственниках!

Рассказ этот я нашла в дневнике Ю. Софиева.

«Прабабушка Аня, урождённая Родионова, доводилась тёткой моему деду. Муж её, петербургский чиновник, штатский генерал, кажется, тайный советник в

отставке, маленький сгорбленный старичок, провёл свой век в городе, в котором прослужил всю свою жизнь.

Прабабушка Аня считалась богатой и “знатной” родственницей. Среди нескончаемой родиноновской родни мой дед был связан с ней самыми тесными родственными узами. Нас, детей, при случае возили в Петербург к ней “на поклон”. Я помню её сгорбленной, древней старушонкой, дожила она почти до 100 лет, но достаточно чопорной, светской петербургской дамой, в прошлом воспитанницей Смольного монастыря. Это заведение “благородных девиц”, кроме знания иностранных языков, не давало настоящего широкого образования, но накладывало на всю жизнь след “светского воспитания”, кастовой узости и глупейших предрассудков среды.

Прадедушка Лука Спиридонович, когда мы приезжали “на поклон”, нам, детям, обычно давал по 10-рублёвому золотому “на сладости”, а прабабушка Аня обязательно что-либо дарила. По существу, я ничего не знаю об их жизни, но смутно помню большую петербургскую квартиру, хорошо сервированный стол, старушку и сидящего в глубоком кресле маленького старичка. Он расхаживал по дому в “стародворянском” халате. Помню какую-то холодную, чопорную тишину.

Так вот, эта дата – конец мая 1906 года, и есть, по-видимому, дата нашего отъезда на Дальний Восток...

(Туда направляли по военной службе отца Юрия Борисовича – Бориса Александровича Бек-Софиева. Тогда, мальчиком, Юрий впервые встретился в пути с казаками – их в то время называли «киргизами». Он записывает впечатления той поездки: «Пирамидальная колонна на границе двух материков с надписью: “Европа – Азия”. Барабинские степи, со скачущими на степных лошадях, за поездом, киргизами...». – Н. Ч.)

...Мы приезжали проститься со стариками перед отъездом “из России”, как говорили в те времена, когда люди уезжали на Дальний Восток или в Туркестан.

Но наибольшее впечатление на меня производила стоящая на блестящем ломберном столике высокая золотая клетка с сидящей в ней заводной птицей. Птица вертелась на стержне, раскрывала рот и исполняла соловьиную песню. Эту, модную когда-то, игрушку прабабка привезла, кажется, из Германии. У меня осталось впечатление, – может быть, оно было более позднее, т. к. после смерти прабабушки Ани эта золотая клетка досталась мне, я, кажется, был одним из любимых её правнуков, только птица – к тому времени – не пела и не вертелась на стержне, механизм её испортился, да и яркое оперение её поблекло, – так вот, у меня осталось впечатление, что и тогда эта механическая, заводная птица вызывала у меня двойное чувство: было забавно на неё смотреть, но вместе с тем я слишком сильно, уже в те годы, любил живую природу и живых птиц, и эта довольно безвкусная вещь мне казалась искусственной и мёртвой...»

Да, да, она, Рая, помнит этот Юрочкин рассказ! Ложка почернела от времени, истончилась. Какая, однако, тяжёлая...

Раиса Николаевна вернула её на место, зевнула, заломила крепкие ещё, полные руки. Как уныло стучат ходики... Такие часы видела она в детстве, на украинском хуторе. Там всё было убрано вышитыми рушниками, и ходики – тоже. И особенно – иконы. У Юрия вместо иконы – большой портрет Ирины. Митя Кобяков снимал, Кобяка... Митя, конечно, изрядный прохвост и болтун. В своих мемуарах наплёл про Бунина разных небылиц. И про себя говорит, что происходит от половецкого

хана Кобяка. Писатель он так себе, а вот фотомастер отменный. Портрет получился замечательный. Какое у Ирины чистое, какое детское лицо. Святая...

Надо бы выйти во двор, освежиться, да как вспомнит Раиса Николаевна этот облупленный рукомойник под навесом, рядом с дождевой бочкой, а пуще того – отхожее место, общее для всего барака, так и затоскует ещё сильнее. Но деваться некуда, надо идти... Набросив японский халат-кимоно, она прокралась в сени и выглянула в сад. О, как гордится Юрочка своим садом! Мол, и у меня теперь, как у Мамченко, свой садик, только у меня больше, чем в Медоне: тридцать деревьев и цветы! Послушать его – прямо, райские кущи! Писал ей в письмах: «В этом году много чудесной клубники, сейчас кусты малины усыпаны душистыми сладкими ягодами. Покупал вслепую саженцы – а оказался хороший сорт. Теперь он разрастается, пуская всё новые побеги. Созрели вишни. Отцвели пионы, перед окном всё пестрит от розовых, фиолетовых и синих васильков, белеет ромашка, вот-вот расцветут золотые шары и флоксы, а позднее – георгины. Это моя радость – вот почему не соблазняюсь я никакими городскими удобствами и не хочу менять квартиры...»

Поэт! Что тут скажешь? Не хочет он менять квартиры. Всё приукрашивает, всё!

Раиса Николаевна с тоской оглядела «райские кущи». Жалкие кусты малины изъедены мучнистой росой, цветы никто не пропальвает, и они заросли сорняком, кривая черешня вся в натёках древесного клея-камеди, болеет. Он бы, конечно, сказал: «Ах, какие янтари!» И продолжил бы какими-нибудь историческими экскурсами или Блока бы вспомнил, и у него, конечно же, непременно, обязательно – молоденькую девицу с янтарными глазами, бесстыжую и дикую в первой своей страсти: «Пришла, скрестила свой звериный взгляд с моим звериным взглядом, засмеялась высоким смехом...»

Собака, облепленная репьями, вылезла из зарослей гигантских лопухов. Юрочка обожает свою приبلудную псину, которую отбил у волкодавов. Они чуть не загрызли собачонку, а у него после этого случился сердечный приступ.

Раиса Николаевна, брезгливо поморщившись, обошла собаку. Собачка улыбнулась ей дружелюбно и деликатно отвлеклась на утреннюю сойку: мол, не смею вам мешать, мадам, меня тут вообще нет, у меня – дела.

За изгородью из гороха слышались голоса. Соседи. Ещё и шести нет, а они уже на ногах. Семейная пара. Вчера оба напились, потому что им, как объяснил Юрочка, выдали зарплату. Как зарплата – они всегда пьют, но так – утверждает Юрочка – прекрасные, душевные люди. Пирогамы его кормят и какими-то беляшамы. Что за беляши? Наверное, местная еда аборигенов. У Юрочки и другие соседи тоже «прекрасные» и «душевные». У него все вокруг – просто замечательные. Говорит, во Франции такой сердечности и простоты, как здесь, нет. Правда, соседи с ним и впрямь приветливы, зовут Юрборсо, сокращённо от Юрия Борисовича Софиева, или просто – Борисыч. Зачем он с ними панибратствует? Глупо! С ней тоже раскланялись церемонно, приподняв кепки, женщины поздоровались за руку – чинно, будто она большая начальница. Ладони у них грубые, деревянные. И теперь вроде о ней говорят, эти двое, за гороховой изгородью, прихлёбывая пиво прямо из погнутого цинкового бидончика:

– Слышь, хрэнцуженка-то эта, она чё пожаловала?

– А то!

– Неспроста это...

– А то.

– Ну, ты и разговорчива нонче, прям, как глухонемая!

– Зато ты молчишь – собаке слова вставить некуда!

– Ладно, чё казакуешь-то опеть?

– А то!

– Слышь, Борисыч-то – он ведь наш теперь, а эта – чужая. Вон как расфуфырилась, и вонят чем-то.

– Дурень! Не вонят, а пахнет. Духи у их есть таки, слышала я, «Шинель» называются, вот имя, поди, и пахнет!

– Я и говорю: вонят! Ежели то шинель, то где ж оно пахнет? А то я не знаю. Войну, чай, прошёл. Я-то уж про шинель всё знаю! А чё, как думаешь, она чё, всё ж таки, приехала-то сюды, на картошку нашу да на сало? Ела б своих вонючих лягушек! Чё ей дома-то не сидится? Может, шпийнка кака?

– Нет, ну ты прям дурак дураком! Кака тебе шпийнка? Взамуж она за Борисыча хочет, понял? Я, как баба, сразу такое вижу. Кошка кошкой глядит на него и прям облизывает. Шпийнка! Скажешь тоже...

Раиса Николаевна звякнула браслетами на запястьях, вспугнула соседей. Они разом смолкли и усталились на неё из-за гороховой изгороди, лица их исказились пьяными улыбками:

– Доброго утречка тебе, соседка! Может, пивка?

После этой поездки Раиса Николаевна долго была в шоке, но ещё больше укрепились в страсти остаться с Юрием, вытащить его из этой «дыры» ближе к цивилизации и укротить. Она была настоящей Музой Быта.

Виктор Мамченко пишет Софиеву:

«Дорогой мой Юрий, вчера я встретился с очаровательной Раисой Николаевной Миллер... Беседовали о тебе, о семье и друзьях твоих. Услышал я и печальное, и радостное, и кое-что, что из твоих писем я не сумел почерпнуть. Конечно, печальное – это твоё проклятое нездоровье! Что делать, когда и врачи беспомощны? Не думаешь ли ты, что надо изменить условия квартиры, оставаясь в той же Алма-Ате? Р. Н. рассказала мне твоё житьё-бытьё, я понял, что у тебя меньше удобств, чем в моей “козьей хатке” в Медоне...

А радостное – это твой высокий успех в научной работе, твоя известность как художника, уважение и почёт вокруг тебя...»

Но Раиса Миллер с грустной иронией относилась к его «трудовым победам» в СССР, как и брат его, Лев, ведь поэта Софиева там совсем не знают и не печатают, в то время как во Франции, в среде русских эмигрантов, он был на виду. А тут Юрий удачей считал появление своих стихов разве что в журнале «Рыболов и охотник» или в провинциальном «Просторе», что случалось крайне редко. Книгу его стихов «Парус» (вначале Ю. Софиев хотел назвать её «Паруса»), подготовленную к изданию в «Жазушы» (Алма-Ата), «зарезали» – эмигрант, бывший белый офицер. Он был по-прежнему враг, несмотря на все усилия ради блага своей страны и декларации любви к социализму. Тоненькая книжечка его жены, Ирины Кнорринг, вышла почти воровским, обманным путём, в серии, куда включали в основном молодых, начинающих авторов (*Новые стихи. Жазушы, 1967*). Николай Николаевич Кнорринг успел увидеть эту книжку, успел порадоваться

возвращению стихов дочери на Родину – и умер, осенью того же года. Но его «Книгу о моей дочери», написанную в Алма-Ате, так и не издали при его жизни – она выйдет спустя тридцать лет после смерти Николая Николаевича. А тогда, в шестидесятые годы, целым событием для них было появление не только книжки, но и подборки стихов Ирины Кнорринг в «Просторе».

«У нас большая радость. Удалось (это уже хлопоты Ник. Ник.) в алматинском альманахе “Простор” напечатать несколько стихотворений Ирины с её портретом и с небольшим предисловием Анны Ахматовой (очень для Ирины лестным)», – пишет Ю. Софиев Раисе Миллер в Эрмон.

В ноябре 1967 года Вл. Сосинский, получив книгу Ирины Кнорринг, отозвался восторженной открыткой: «Пришлите несколько экземпляров “Новых стихов” для Женевы, Нью-Йорка, Москвы и Ленинграда! Это ведь событие в нашей жизни!.. Это, наверное, ласточка в советской печати: сборник стихов стопроцентного зарубежного поэта (ведь Вы, Юрий Борисович, не на все 100 процентов!)...» Стихи И. Кнорринг Сосинскому настолько понравились, что он решился покаяться в давнем грехе: «Рассказать Вам?.. Париж. Кафе-подвал Цеха поэтов – вроде петербургской “Бродячей собаки”. Мои злые слова о милых стихах юной Ирины – и вдруг наутро так был наказан: рпец со стихами, посвящёнными мне. Кстати, не нахожу его – этого стихотворения. Может, я его Николаю Николаевичу отослал? Многие, многие её стихи мне понравились...»

Через годы эмигранты, нередко враждовавшие на чужбине, изменились друг к другу. Их теперь связывало особое чувство общей судьбы, особое родство. Только они могли понять друг друга, пережившие похожие испытания, как когда-то декабристы, на старости лет возвратившиеся из сибирской ссылки. Декабристы тоже стали родными, поддерживали друг друга – и морально, и материально, у них образовалось своё, крепкое, братство.

Вл. Сосинский признаётся: «Цветаева хорошо говорила о родстве по крови и по выбору. Но, я думаю, что родство “по духу” крепче! Так хочется поговорить с Вами обо всём. Вы стали нам на родине буквально родным человеком».

В каждом письме он приглашает его к себе в Москву: «Вас всегда ждёт свободная комната. Соберите только деньги на дорогу, а здесь Вы будете на всём готовом. Ох, уж мы и наговоримся!»

И ещё одно письмо: «Вернулась из Парижа Рита Райт... Догадайтесь: от кого она привезла мне привет? От врага моей юности, которого я вызывал на дуэль – от Юрия Терапиано!»

Вл. Сосинский разыскивает бывших друзей-эмигрантов, вернувшихся на Родину, рассылает их газетные публикации и книги по разным адресам, поддерживает связь с теми, кто остался на чужбине. Он всячески способствует возвращению на Родину их творчества, спасает от забвения. Он рад любому успеху своих товарищей по эмиграции, как рады бывают в семье, и по-настоящему огорчается, когда талант их остаётся в тени, или искажается информация о них.

В 1973 году он сообщает Ю. Софиеву: «Вышла в Питтсбурге (США) такая книга: “Русская литература в эмиграции”, под ред. Н. П. Полторацкого (род. в Константинополе в 1921 г.), 416 стр. Там можно найти такие строки: “Ю. Софиев и В. Андреев после войны вернулись в Россию, но, насколько нам известно, стихи их там опубликованы не были”».

С Америкой у Вл. Сосинского прямая связь: во-первых, он жил там долгое время, там бывает его друг и родственник Вадим Андреев – они женаты на родных сёстрах Черновых (дочери эсера Виктора Чернова – Ариадна и Ольга), и дочь В. Андреева, Ольга Карлайн, осталась в Штатах. Она тоже занимается литературой, издательской деятельностью, она всегда в курсе таких событий, как новые книги об эмигрантской литературе за рубежом.

Вл. Сосинский не согласен с заявлением Полторацкого. Бурно протестует И прозаическая книга Вадима Андреева «Детство», где он вспоминает о своём отце, Леониде Андрееве, и стихи Юрия Софиева всё же появились в печати. Их читают! Он приводит отрывок из статьи Александровского в газете «Голос Родины» (июнь 1970 года): «Куприна, Бунина, Цветаеву, Агнiewiczеву у нас издают многотысячным тиражом. Стихи Юрия Софиева, Ирины Кнорринг, миниатюры Тэффи, Аверченко, Осоргина и др. появляются на страницах нашей периодической печати» («нашей» – т. е. советской). И Вл. Сосинский говорит о публикациях Ю. Софиева на Родине: «Радует меня то, что Вам удалось поместить в советской прессе “далеко не созвучные ей” строфы. В каком-то смысле – это победа!»

Речь идёт о стихотворении Ю. Софиева «В готическом соборе».

Свод потолка и холоден, и крут,
Холсты картин, давным-давно поблёкших.
И только той же райской радостью цветут
Средневековые цветные стёкла.
Заснул Адам под деревом в саду,
Склонился змей и искушает Еву.
И вот уже архангел, полный гнева,
На землю гонит к бедам и труду.
А грешников поджаривают бесы,
Склонясь над яслями, мычат скоты...
Вдруг с башенной, огромной высоты
Поплыл удар, густой и полновесный.
Перекрестились женщина, солдаты...
Века, века о том же! – о пощаде!
И с тою же надеждою во взгляде,
И так же исчезают без следа!
А приходящих вновь встречают черти
И каменного ангела рука.
Какая это мутная тоска –
Так унижительно искать бессмертья!

* * *

Раиса Николаевна укоряла Юрия Борисовича, что он «очень изменился, променяв поэзию на “паразитов”». Дожился до того, что одного из этих «паразитов» назвали его именем. Ещё и гордится: мол, вписан в анналы отечественной науки.

Она не разделяла восторги Юрочки по поводу его работы в Институте зоологии. Подумаешь, вращается среди профессоров и академиков, которые его уважают и заказывают ему оформление своих учёных книг. Всё равно! Это не литературная среда. Это – не Бунин, не Куприн, и даже не Адамович.

Он терпеливо объясняет ей: «Но, во-первых, я поэзию ни на что не променял и по-прежнему ей служу, хотя пишу очень мало. Может быть, потому, что живу вне литературной среды. Вернее, совсем почти не пишу. На это есть, правда, и ещё другие причины. Во всяком случае, при моём характере и при моей весьма скромной, в этой области, продуктивности – одной поэзией прожить я бы не смог. А во-вторых, я ведь всю жизнь был по натуре натуралистом, и науки, связанные с изучением природы, были всегда милы моему сердцу...»

Она намекает на то, что как художник он дилетант. Софиев не спорит: да, дилетант! Но тут же добавляет, что и литературой он никогда не занимался профессионально: «...Хотя я довольно прочно вошёл в зарубежную русскую поэзию, но фактически не был профессиональным литератором, может быть, был им только в период “Советского патриота”... Кстати, приходит забавная мысль: можно ли назвать профессиональными литераторами “поручика” Лермонтова, чиновников Грибоедова и Гончарова, дипломата Тютчева, вице-губернатора Салтыкова, инженера Гарина, педагогов Фёд. Соллогуба и Иннокентия Анненского? Имена, пришедшие в голову...»

При разговоре Мамченко с «очаровательной Раисой Николаевной» после её возвращения из Алма-Аты присутствовала и Елена Люц. Представляю, что пережила она, слушая откровенные рассказы о встрече с Софиевым. Она писала потом Юрию, что Раиса Николаевна не стеснялась интимных подробностей, что она была в возбуждении от пережитых с ним дней, что она строит планы на совместную с ним жизнь.

Более всего была она потрясена тем, что всё это время, параллельно с тайными посланиями её, Елены, в Алма-Ату шла «любовная» почта от Раисы Миллер. В каждом своём письме (обычно, это были открытки с видами Франции) Раиса Николаевна тоже говорила о любви, о нежности, с которой она думает о Юрии, вспоминала эпизоды их давних встреч, знакомые места, где ей теперь является воочию Софиев. Она тоже, как Елена, оказывается, томится и надеется на воссоединение с ним, и он не отказывает ей в этих надеждах, хотя...

Хотя надо знать Юрия Борисовича: «И девушек доверчивых напрасной / Влюблённостью я мучил вновь и вновь...» А всё потому, что «...Боже мой, с какой последней жадой / Хотел я верности и чистоты, / Предельной дружбы, братской теплоты, / С надеждою встречался с каждым, с каждой...»

Он искал чистоты и предельной дружбы. А «девушки» всех возрастов искали – телесной близости и любви с ним.

В дневнике конца 50-х годов Юрий Софиев описывает вечер с алма-атинской своей подругой Г. В., которую он посетил в день 8 Марта. Она его неоднократно зывала в гости, но он уклонялся от приглашений, хотя ценил её заботу. Она посещала его в больнице, когда он болел, ходила с ним по магазинам покупать ему костюм и вообще всячески помогала ему в быту. Он гордится её дружбой, сообщает в дневнике: «Г. В. – старший научный сотрудник, умная и талантливая, современная советская женщина, член партии, и вот...»

Да, вот! «Член партии» без памяти влюбилась в 58-летнего поэта, своего сослуживца, бывшего белого офицера. После недолгих колебаний, он всё же пришёл к ней в гости. «...И с порога – Г. В. прижалась ко мне своим телом и грудью:

– Юрий Борисович, какой вы тёплый!»

Явно довольный страстью «современной советской женщины», он кокетничает в дневнике: «Когда я перестану нравиться женщинам?» И хотя пишет, что устоял перед её напором, однако запись кончает так: «Но она молодая баба – крепкая. Вернулся к 12 ночи...»

* * *

Эти возвращения к 12 ночи, а то и к утру бывали нередки и в браке с Ириной Кнорринг. Иногда он пропадал – безо всяких предупреждений и объяснений – ещё на более продолжительное время. И жена его бессонно стояла у окна в столовой и смотрела в ночь, ожидая его и представляя всяческие ужасы. Об этом её стихотворение «Окно в столовой» (1938 г., они в браке 10 лет), где есть такие строки:

Снова – ночь. И лето снова.
(Сколько грустных лет!)
Я в прокуренной столовой
Потушила свет.

Папироса. Пламя спички.
Мрак и тишина.
И покорно, по привычке
Встала у окна.

Сколько здесь минут усталых
Молча протекло!
Сколько боли отражало
Тёмное стекло...

Один раз она отправилась на поиски мужа, нашла его в каком-то кафе, но скандала устраивать не стала: просто убедилась, что с ним всё в порядке, и тихо вернулась домой. Не устроила скандала и потом. Он был удивлён этим её поступком, перечитывая дневник жены спустя много лет, уже после её смерти. Пережил, как он признаётся, стыд и благодарность ей за долготерпение.

Не только в дневнике, а и в стихах (1931 г.) написала она об этом. Но в 1931 году Юрию было не до её переживаний. Он был увлечён яркой, страстной, блистательной, умной, изысканно одетой, энергичной Зинаидой Шаховской. А Ирина писала:

Просто, без слов и проклятий,
С горстью наивных стихов,
В стареньком ситцевом платье,
В тёмной тоске вечеров,

С запахом лука и супа,
В кухонном, едком чаду –
Женщиной слабой и глупой
Тихо к тебе подойду.

И без упрёка и стога
Острую боль заглушу.
Снов твоих страшных не трону
И ни о чём не спрошу...

Ирина ни о чём не спрашивала мужа. А вот подружки его, Елена Люц и Раиса Миллер, похоже, мучили его упрёками, сценами ревности, хоть и прощали потом. Он таких сцен не любил. Они мешали его совести. Мешали совершаться предначертанному его Природой пути. Но вина всё равно догнала – вина перед Ириной: жгучая, неизбежная, непоправимая: «Любимой и покорно-грустной / Всю жизнь ты будешь сниться мне...»

Только после смерти жены осознал он, чего стоила ей эта «покорность», в которой открывалась она только стихам, а ему – не говорила:

Я не спрошу – где проведёшь ты вечер,
Я не скажу, кому пишу письмо.
Я часто жду какой-то яркой встречи,
И часто дом мне кажется тюрьмой.

Нам трудно жить, самих себя скрывая,
И всё мучительнее быть вдвоём.
Мы оба сердимся и оба знаем,
Что больше мы друг друга не вернём...

* * *

И на кровати, в ночь глухую,
В ночь униженья, ночь без сна,
В давно привычном поцелуе
Испить отчаянье до дна...

Но она любила его – всяким. Она его прощала. И вопреки всему, хотела – «смотреть в любимые глаза».

И Раиса с Еленой – тоже хотели смотреть в его глаза, и тоже – любимые. И если бы судьба соединила их, то те же тревоги, те же ночи «униженья без сна», отчаянье и одинокое стояние у ночного окна ждали бы и Музу Быта Раису Миллер, и Музу Любви Елену Люц, и любую другую Музу.

* * *

Погостив у Г. В., Софиев зевает:

«Она меня поцеловала, а я как чурбан. Мне и неловко, и жаль её. В её отношении ко мне есть что-то Раисино (Миллер. – Н. Ч.). Гораздо больше дружбы. (Тут он, пожалуй, путает чувства: «гораздо больше дружбы» было у него к Раисе и к Г. В., а у Раисы и у Г. В. к нему – любовь, со всеми её проявлениями. – Н. Ч.) Она очень милый человек, бесконечно много для меня делающий. Но если я поддамся, это испортит наши хорошие, человеческие отношения. У меня нет к ней никакой ни страсти, ни влечения. А моя “подлая девка”, та давно не моя! Она заполняет пронзительной горечью и болью всё моё существо... (Он говорит о своей послед-

ней страсти – Тае Гуриной, девушке лет семнадцати-восемнадцати, которая только что бросила его. – Н. Ч.)

Поужинали, выпили, по две рюмки водки и брагу. Прочел ей “На могиле Пржевальского”. Говорит: “Хорошо”. Но может ли у неё быть объективное суждение обо мне?..»

Он прав: Г. В. – необъективна, стихотворение это не лучшее у Ю. Софиева, но Г. В. – влюблена. Г. В. – хочет за него замуж, как и Раиса Миллер, которая тоже нахваливает его стихи, а ведь почти всё, что написано Софиевым в Алма-Ате, значительно уступает парижскому периоду. Лучшие свои стихи написал он за те 16 лет, что прожил с Ириной Кнорринг, о чём и сам неоднократно говорил в своём дневнике.

И от молодости это было, и от счастья, и от любви настоящей, и просто от полнокровной жизни, прежде всего, литературной.

* * *

Несмотря на успехи у «современных советских женщин», думаю, глубокие разговоры о литературе с ними вряд ли были возможны, особенно с молоденькими Музами.

В письмах во Францию Ю. Софиев сообщает, что читает Лескова, Платона, хоть последний и чужд ему, и с удовольствием и с радостью – Ключевского. Мог ли он говорить об этом с той же легкомысленной Таей Гуриной? Для серьёзных бесед она, конечно, не годилась. Тут нужны были Елена Люц и Раиса Миллер. У них был иной уровень культуры: обе много читали, были в курсе современной и русской, и мировой литературы, могли на равных обсуждать с ним книжные новинки. Такое общение возникло у него, конечно, и с землячкой из Старой Руссы, Ириной Братус, но Ирина Владимировна всё же была не таким близким человеком, а Раиса с Еленой – давно родные, кроме того, обе имели отношение к творчеству и вращались в писательской среде. У них с Юрием была общая жизнь за границей, общие друзья и знакомые, память о молодости, когда Юрий Борисович был знаменит и успешен в поэзии, у него вышла книга в Париже – «Годы и камни», он часто печатался в русских эмигрантских изданиях, его стихи хвалили Ходасевич и Адамович: «Стихи Софиева будто светятся изнутри!», «Из тысячи стихов можно угадать стихи Юрия Софиева, наделённые искреннею взволнованностью», одобрительно отзывался Георгий Иванов, его любил и привечал в своём доме Иван Бунин. Когда писатель умер, Юрий Софиев был в числе тех, кто нёс его гроб.

* * *

Их с Иваном Алексеевичем связывало многое, в том числе и любовь к Лермонтову.

Г. Адамович в «Комментариях» вспоминает, что в последние месяцы и часы своей жизни Бунин говорил о Лермонтове, поздние стихи Лермонтова приводили в восхищение Ивана Алексеевича. Он говорил, что доживи Лермонтов хотя бы до возраста Пушкина, он бы его «забил».

«У меня до сих пор звучит в ушах фраза, которую Бунин настойчиво повторял: “Он забил... забил бы его...”», – пишет Г. Адамович.

Адамович спорит с Буниным. Признавая, что проза Лермонтова, может быть, и выше пушкинской, но в стихах автор «Демона» Пушкину уступает и никогда

бы не достиг его высот. Однако и Адамович вынужден был согласиться, что есть в поэзии Лермонтова своя, особая магия: «Но у Лермонтова есть ощущение и ожидание чуда, которого у Пушкина нет. У Лермонтова есть паузы, есть молчание, которое выразительнее всего, что он в силах был бы сказать. Он писал стихи хуже Пушкина, но при меньших удачах его стихи ближе к тому, чтобы действительно стать отражением “пламени и света”. Это трудно объяснить, это невозможно убедительно доказать, но общее впечатление такое, будто в лермонтовской поэзии незримо присутствует вечность, а чёрное, с отливами глубокой, бездонной синевы небо, “торжественное и чудное”, служит ей фоном...»

В «Разрозненных страницах» Ю. Софиев вспоминает: «Мне с Иваном Алексеевичем пришлось встречаться, живя в Париже, на протяжении почти двух десятилетий в русской литературной среде и в домашней обстановке писателя...»

Вот один эпизод этих встреч:

«...Через несколько дней я пришёл к Буниным. Оказалось, Иван Алексеевич уже поужинал и ушёл в свою комнату. Я принёс с собой бутылку водки и какую-то закуску. Из бунинской комнаты раздалось:

– Кто пришёл?

– Юра Софиев, – ответила Вера Николаевна (жена Бунина).

– “Осетины шумной толпой обступили меня и требовали на водку”, – в шутовском настроении Иван Алексеевич непременно обрушивал на меня цитату из лермонтовской “Бэлы”. Виною тому моя кавказская фамилия, хотя никакого отношения к осетинам я не имел...»

* * *

Отношение он имел к лезгинам, жившим в Дагестане, и его предок Кули-Бек-Софиев-оглы был седьмым наибом у Шамиля. Седьмой наиб ведал торговлей. А выходцем был из Тифлиса, из Бекского рода. В роду его были духовные лица – ахунды. Один из Бек-Софиевых, из азербайджанского селения Сальяны, Мирза Мамед-Али Сафиев, тоже ахунд, имел литературный дар и активно печатался в «Закавказском вестнике». Тётушка Юрия Борисовича, Софья, жила тоже в Азербайджане. В семейном архиве есть её фотография, где она – молодая, модно одетая, в шляпке, стройная красавица. Одухотворённое, чистое лицо. Такие лица нередки на Востоке.

По преданиям, Бек-Софиевы (иногда они писались, как Сафиевы) вроде бы происходили от восточных шахов-сефевидов.

Софии – те же Сефевиды – династия шахов Персии (1502–1736), основанная потомком шиитских имамов Измаилом I Сефевием (1499–1525).

В статье искусствоведа Таира Байрамова «Концентрическая символика ислама и суфизма в азербайджанском искусстве» (*Простор. № 3. 2011*) говорится: «В XIV–XVI вв. в азербайджанской культуре резко возрастает значение “центрального”, что на уровне пространственно-географической распределённости выражается в возникновении новой энергийной “точки” – мавзолея Шейха Сефи, который в сознании азербайджанских и иранских шиитов и суфиев по своей сакральной значимости соперничал с Каабой. Подобно Каабе, усыпальница Шейха Сефи стала “магнитным полюсом”, притягивающим тысячи паломников...»

Об этой усыпальнице так же хранилось в семье предание, и муж мой вспоминал о нём: мол, где-то в Иране есть мавзолей их предка, куда правоверные совершают паломничество и почитают как свою святыню.

Дед Юрия Софиева, Искандер Кули-Бек-Софиев-оглы, мальчиком не то шести, не то двенадцати лет был взят русскими в аманаты, воспитан в знатной петербургской семье, получил блестящее образование, стал генералом. Он был женат на татарской княжне Золотой орды – Микалине Якубовской. Она из тех татар которые перешли на службу к литовскому королю и служили в его татарской коннице.

И отец Юрия Борисовича, и сам Юрий Борисович родились в Польско-Литовском княжестве. Юрий Софиев – в небольшом городке Беле, который, возможно, находился на территории нынешней Белоруссии или же Литвы, 20 февраля 1899 года, на пороге XX века, о котором А. Блок писал:

Двадцатый век... Ещё бездомней,
Ещё страшнее жизни мгла
(Ещё чернее и огромней
Тень Люциферова крыла)...

И бездомность, и лукавые соблазны Люцифера, и поиски пути к свету сквозь «жизни мглу» – всё пришлось испытать отцу и сыну Бек-Софиевым, оторванным от корней предков своих: святого Шейха Сефи, азербайджанских ахундов, тифлисских беков, золотоордынских князей Якубовских, «любителя изящного» Софиева, который построил «Красивый мост» в Грузии – о нём упоминал А. Грибоедов в своих «Путевых письмах»:

«...В диких, снегом занесённых, степях вдруг наехали на такое прекрасное произведение архитектуры, ей-богу. Утешно! И удивляет! Я долго им любовался, обозревал со всех сторон; он из кирпича так искусно сведён и огромен...

...В нескольких саженьях от этого моста заложен другой; начатки из плиты много обещали; не знаю – почему так близко к этому, почему не кончен, почему так роскошно пеклись о переправе через незначительную речку, между тем на Куре, древней Цирусе Страбона, нет ничего подобного этому. Как бы там ни было, Сенаккюрте, или, как русские его называют, “Красивый мост”, свидетельствует в пользу лучшего времени, если не для просвещения, потому что Бетанкур мог быть выписной, то, по крайней мере, царствования какого-нибудь из здешних царей или одного из Софиев, любителя изящного...»

Ю. Софиев пишет в своём дневнике по поводу этого моста: «По рассказу дяди, младшего брата отца, полковника, военного юриста, “Красивый мост” построен одним из беков Софиевых – любителем архитектуры, нашим предком (будто бы?). Это мой вопрос: беки Софиевы или Сафиевы? Отец писал и так, и так, но обычно писал Сафиев...»

До крещения в православие отец Ю. Софиева, Борис Александрович, был мусульманином, носил имя Оскар-Бек (1872–1934), потому два его младших сына, Лев и Максимилиан, Оскаровичи, а старший, Юрий, – Борисович. И фамилия их по-разному писалась: то Бек-Софиевы, то просто Софиевы, а иногда – Сафиевы. Все они, вместе с их отцом Оскаром, были прокляты дедом Искандером за отступничество от мусульманской веры.

– Проклинаю тебя и твой род! – сказал дед. И никогда больше Искандер не общался со своим сыном, а мать встречалась тайком.

А крестился Оскар-Бек, чтобы венчаться с красавицей Лидией Родионовой – дочерью своего сослуживца. Её семья поставила такое условие: «Крестись!» – иначе отказывалась отдавать ему Лидию Николаевну. Да и сама она была строптива и своенравна. Но как хороша! К тому же образованна, читает наизусть Лермонтова, может часами говорить о Толстом, играет на пианино, чудесно поёт, и в каждом её движении грация, достоинство, высокая душа. А на коне скачет – чистая амазонка! Огнём горела душа молодого влюблённого, разрываясь между женщиной и отцом. И победила женщина – он пошёл против воли отца: крестился, сменил имя, не побоялся проклятия. Как похож на молодого Оскар-Бека сын его, Юрий! Та же горячность, доходящая до безрассудства, до безумия, когда он влюблялся. «Я буквально терял голову, становился лунатиком!» – признавался он в письмах Елене Люц.

В конце жизни, думая о своей судьбе, Борис Александрович Бек-Софиев с горечью судил себя, считая, что все испытания, выпавшие ему и его близким – революция, война, разгром Белого движения, беженство, утрата родины и семьи, положение «человека второго сорта» на чужбине, печальная старость – всё это возмездие за нарушение воли отца, за отступничество от веры предков.

* * *

Юрий Софиев жил воспоминаниями о парижской жизни. И Елена с Раисой оставались теми ниточками, которые связывали его с прошлым, которые подтверждали, что прошлое это было и не исчезло навсегда. В этом прошлом он был Поэтом. И рядом были – Поэты. Да ещё какие! И рядом была – Ирина. Живая. Единственная, несмотря на многие его увлечения.

То и дело в дневнике он возвращается к парижским воспоминаниям, например, к стихам Ходасевича:

«...Впрочем – так и всегда: посредине
Рокового, земного пути:
От ничтожной причины к причине,
А глядишь – заплутался в пустыне,
И своих же следов не найти.
Нет, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала,
И Вергилия нет за плечами,
Только есть одиночество в раме
Говорящего правду стекла...

Пытаюсь припомнить образ Владислава Фелициановича – черты расплываются, но маячит что-то очень умное, порой беспощадно-жестокое, желчное и жёлтое (кожа).

...тот, кто каждым ответом
Желтоватым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх...

Неправда! Мы с Ириной очень любили его стихи. Несколько раз был я на его воскресниках и тогда, когда они жили с Ниной Ник. Берберовой (её я откровенно не любил), и после их разрыва (хотя в воскресенье она по-прежнему приходила к нему со всеми его друзьями и почитателями и хозяйничала за столом).

Я чувствую себя порой очень обеднённым, ибо не могу насладиться подлинной и высокой поэзией больших поэтов – Ходасевича, Георгия Иванова, Георгия Адамовича. Я не привёз их книг (*было запрещено везти в СССР книги эмигрантских писателей как политически чуждых новой власти, хотя в их стихах не было никакой политики, а только вечные темы жизни, любви, смерти и бессмертия. – Н. Ч.*), а память меня давным-давно предала. Живут отдельные прекрасные строчки, но стихи, которые я знал наизусть, безнадежно для меня потеряны. Как грустно!

...“Грусть мира отдана стихам”. Эту фразу обронил Георгий Иванов. Это вовсе не значит, что грустью ограничивается поэзия, но что грусть отдана стихам, и что это прекрасно, и что это необходимо человеку – тоже безусловно. Ну, а музыка? Разве не так же? Не совсем.

Мы слишком устали и слишком мы стары
Для этого вальса, для этой гитары...

* * *

И особенно синяя
(С ранним боем часов)
Бесконечная линия
Бесконечных лесов...

Неужели это всё, что я сейчас могу вспомнить из Георгия Иванова? Но и то, и другое – прекрасно.

Или Адамович:

Один сказал: нам этой жизни мало.
Другой сказал: непостижима цель.
А женщина привычно и устало,
Не слушая, качала колыбель.

И стёртые верёвки те скрипели,
Так замирали, каждый раз нежней,
Как будто ангелы ей с неба пели
И о любви беседовали с ней...

И это прекрасно!

Или Ходасевич:

Жив ты! Умён, а не заумен,
Хожу среди своих стихов,
Как неподатливый игумен
Среди послушных чернецов...»

И Юрий Софиев ходил среди своих стихов, «как неподатливый игумен среди послушных чернецов», слыша музыку вечной Поэзии.

Его ещё помнили на чужбине, упоминали в статьях эмигрантских изданий, он там время от времени печатал свои очерки.

Елена Люц и Раиса Миллер знали ему настоящую цену, и потому он тянулся к ним и нуждался в общении с ними.

* * *

Раиса Миллер была, несомненно, интересна ему – как друг. Он всё время подчёркивал это: «В тебе я видел только друга». Друг – влюблённый, полный восторга и бесконечной преданности.

Почему поэту необходима дружба с женщинами, женское окружение, признание своих литературных побед именно у женщин? А потому, наверное, что с мужчинами, даже очень близкими друзьями, – всегда соперничество, всегда подоплёка ревности, и значит, не полное торжество, не совсем первенство. А с женщинами – тоже, конечно, подоплёка, но более привлекательная – эротическая, даже если между мужчиной-поэтом и женщиной самые дружеские отношения, и отношения эти никогда не переходят опасную грань, всё равно, там – влюблённость, там полное торжество мужчины и первенство неоспоримое. Ведь и птица поёт, чтобы вызвать у другой птицы, у подруги своей, любовное томление. Песни поэтов – это всегда брачные песни, даже если поют они о Родине, либо о жизни и смерти, либо о вечной душе. Поют, чтобы, как писал Блок: «Привлечь к себе любовь пространства, / Услышать будущего зов...» Женщина при этом должна быть рядом, но в то же время – в романтическом далеке: через неё певец привлекает к себе «любовь пространства» и «будущего зов».

Кроме того, в женщине поэт инстинктивно ищет мать. Только мать любит бескорыстно, безгранично. Но он ищет не просто мать, а Мадонну. Ищет – Непорочную. Непорочность возможна, пожалуй, только в детстве, и поэты – вечные дети – умудряются сохранить в себе возраст семи, восьми, девяти лет. Многие из них первую любовь пережили именно в это время, к девочкам столь же юным либо к молоденьким девушкам. И Юрий Софиев впервые влюбился в семь лет. Трепет детской – чистой и непорочной – любви озаряет всю жизнь поэтов. Об этом говорили Данте, Байрон, Пушкин, Лермонтов и многие другие. Все они вспоминали о своей любви в восемь – девять лет, о том, что никогда потом не испытывали более обжигающего и полного чувства.

«Как это странно, что я был так безгранично предан и глубоко привязан к этой девушке в возрасте, когда я не только не мог испытывать страсть, но даже и понять значение этого слова. И однако же это была страсть!» – удивлялся Пушкин своей ранней влюблённостью в Сонечку Сушкову, с которой мог познакомиться на детских балах у танцмейстера Иогеля либо у самих Сушковых – отец Сонечки был литератором.

«Но как же это чувство могло пробудиться во мне так рано? Какова была причина этого? – спрашивал себя и Байрон в своём дневнике. – И в ту пору, и несколько лет спустя я не имел никакого понятия о различии полов. И, тем не менее, мои страдания, моя любовь к этой маленькой девочке были так сильны, что на меня находит иногда сомнение: любил ли я по-настоящему когда-либо с тех пор?.. Это необычайное явление в моей жизни (ведь мне ещё не было тогда

полных восьми лет) заставило меня задуматься, и разрешение его будет меня мучить до конца дней...» Когда, уже став взрослым, Байрон услышал о замужестве своей Мэри, то его словно громом поразило: «Я чуть не задохнулся к великому ужасу моей матери и к неверию почти всех остальных...»

Так же задохнулся и Лермонтов, когда узнал, что его детская любовь, его Варенька Лопухина вышла замуж за старика Бахметева.

Бедный Байрон, бедный Пушкин, бедный Лермонтов...

Трагедия ведь ещё и в том, что женщина – увы! – всегда взрослая. Даже и в неполные восемь лет она умеет кокетничать. Женщина Природой призвана в соблазнительницы, она склоняет к греху, и сама входит в него. Но грех её потом искупается материнством.

Александр Блок воспевал свою Музу, Любу Менделееву, полюбив её ещё ребёнком, ей читал стихи, на неё молился, как на икону, и всех заставлял молиться. И пока была она только духовной его подругой, была чистой невестой – пребывал в счастливом возбуждении, а как начался у них совместный семейный быт – угас.

По мнению Г. Адамовича, Блок не случайно был назван Ахматовой «трагическим голосом эпохи», потому что «безнадёжно и беспомощно хотелось ему в мечте обнаружить правду». Это касалось всего. Это касалось и его обожествления женщины – он хотел «в мечте обнаружить правду» и, не находя её, страдал.

Михаил Лермонтов, который презирал высший свет, однако, появлялся там – ради внимания женщин: они боготворили его стихи, а через стихи – и самого поэта, который внешне был некрасив, застенчив и не мог надеяться на успех у женщин, а нравились-то ему только красавицы.

«Я бы хотела с ним спуститься на дно морское и полететь за облака!» – говорила светская дама Мария Щербатова о лермонтовском Демоне, но думала так и о самом поэте, которого полюбила так сильно, что отреклась от семьи, от богатства, переступила через позор в свете.

И многие женщины хотели бы с ним «спуститься на дно морское и полететь за облака». Но ни на одной из них он не женился. Ему довольно было их восторгов, да и жизни отпущено так мало, да и не могли они соперничать с Мадонной, даже несравненная, «вечная любовь» его – Варенька Лопухина, которую он изобразил на одной из своих акварелей испанской монашкой, прекрасной, печальной и кроткой. Но и о ней вздыхает поэт разочарованно: «Душою мы друг другу чужды...» Не хватало и ей божественной чистоты. И поэт скучал, и даже подумывал о монашестве, как и Петрарка.

В письме к другу своему, Марии Лопухиной (она была сестрой Вареньки), с которой у Лермонтова была самая сердечная и откровенная переписка, он сообщает: «Я пустился в большой свет. В течение месяца на меня была мода, меня буквально рвали друг у друга... Самые хорошенькие женщины выпрашивают у меня стихов и хвастаются ими как триумфом. Тем не менее, я скучаю...»

И Александр Пушкин скучал. Скучал – и стремился к беседам о своей поэзии с дамой высшего света, «черноокой Россети». Натали Пушкина ревновала, но терпела, переживая их оживлённые диалоги.

Дружбой с «черноокой Россети» дорожили Жуковский, Вяземский, Плетнев, а позднее – Лермонтов и Гоголь. Посвящали ей стихи. Она была фрейлиной при дворе, и её келья на 4-м этаже Зимнего дворца сделалась центром собраний всех знаменитостей тогдашнего литературного мира – заметим, мира по преимуществу мужского.

Умница и красавица Александра Осиповна Россет-Смирнова считала Пушкина гением и говорила ему об этом, а друзья-мужчины говорили не всегда; хотя и смирились с его бесспорным первенством в русской поэзии, но быть там хотели сами.

Поэта Георгия Иванова долго не признавали собратом по перу. Ходасевич писал о нём разгромные статьи и считал, что у Г. Иванова, как поэта, нет будущего (ныне оба – классики русской литературы). И только жена Иванова, Ирина Одо-евцева, всегда верила в его талант и называла Первым поэтом – и в России, и в эмиграции. Настаивала на этом и после его смерти. И – победила всех скептиков! Он стал знаменит.

Михаил Осоргин в «Литературной анкете» журналу «Числа», где разбирался вопрос, в упадке ли современная литература или нет, замечает: «Как-то трудно в современнике, может быть, даже знакомом, понять и оценить гения. Это умеют только восторженные женщины, но зато они и мастерицы ошибаться...»

«Ах! Обмануть меня не трудно, / Я сам обманываться рад!»

В письме к Дмитрию Кобякову Ю. Софиев пишет: «...На любом этапе моей жизни и на любом новом месте всегда я “обрастал” друзьями и книгами. Ну, а в своё время “друзьями”-женщинами...»

Следует заметить, «время» это никогда не кончалось.

* * *

В дневнике 1959 года Ю. Софиев, вспоминая предвоенную Францию, рассказывает о своей дружбе с Бригиттой Дённер, студенткой Сорбонны, немецкой эмигранткой, которая пережила какую-то трагедию, и у которой были «чудесные, полные задумчивости, глаза, какие часто бывают у евреек».

Он описывает эпизод, когда отношения его с Бригиттой подошли к опасной черте, хотя Бригитта без конца говорила о своём женихе, французе Мишеле, а Юрий Борисович – о жене, Ирине Кнорринг.

Юрий с Бригиттой совершали совместную прогулку на велосипедах. Была чудесная тёплая весна. Мелькали рожицы, пронизанные солнцем. А до этого – несколько недель дружеского, весёлого общения, откровенных разговоров, стихов, походов в литературные салоны, в кинематограф, к парижским друзьям Юрия. Но Юрий – писатель. Юрий изучает всегда и везде малейшие движения души и сердца – и свои, и чужие. Он их препарирует. Более того, он провоцирует разные ситуации, как делал и Лермонтов. И фиксирует их в памяти.

Спустя много лет Ю. Б. Софиев запишет в дневнике свои весенние переживания 1939 года:

«Вероятно, это зависит от характера, но мне кажется, что почти всегда в двуполой дружбе, самой бескорыстной, самой, что называется, “чистой”, всегда

присутствует известная доля “эротической взволнованности”. Да ведь и дружба возникает между людьми, которые нравятся, которые тянутся друг к другу. И дружба между мужчиной и женщиной – это тоже почти всегда, за редкими исключениями, “дружба-влюблённость”.

Близость Бригитты была всегда мне приятна, и я отлично чувствовал, что Бригитте тоже хорошо со мной. Но никогда до этой весенней молодой рожицы наши дружеские отношения не переходили границы тёплой интимной нежности...»

Итак, в рожице разлит «весенний и тлетворный дух». Велосипеды брошены в траву, которая светится нежными первоцветами. И кругом – ни души. Софиев – «демон», опытный в любовных делах, слышит, чует это сумасшедшее сердцебиение пойманной в силки юной птички: «Это сильное, молодое, бесконечно милое мне женское тело вдруг стало нестерпимо притягивать меня. И я видел, что всё оно теперь пронизано и содрогается эротической взволнованностью. О, я-то знал эту “демоническую” и “роковую” силу, обезволивающую женщину и наполняющую её сладостным бессилием!»

И надо отдать должное Юрию Борисовичу, он повёл себя в высшей степени благородно и роковую черту не переступил. Бригитта, опомнившись от своего «солнечного удара», с благодарностью отнеслась к его сдержанности: «Если бы я сейчас стала твоей любовницей, сегодня вечером мы оба не могли бы смотреть в глаза Ирине, а между мной и Мишелем была бы ложь. А кроме того, и, быть может, это главное, я бы превратилась всего лишь “в ещё одну женщину” в твоей жизни, и, вероятно, на очень короткий срок!»

Дружба с Бригиттой после этого продолжалась до осени 1939 года. Бригитта благополучно вышла замуж за своего Мишеля и уехала с ним в Лион. Ирина тоже полюбила всей душой немецкую девушку и ждала вестей от неё, как и Юрий. Но Бригитта с Мишелем пропали. «...Так всё закончилось войною. / Безликий, беспощадный рок / Подводит чёрною чертою / Двадцатилетию итог... / И снова трудным испытаньем / Встают ещё слепые дни. / Бедой, разлукой и скитаньем / Грозят мне сызнава они...» (Париж, 1939 г.)

Никогда не забывал Юрий Борисович Бригитту и трепетную дружбу, которая связывала их. Остался чистый свет.

* * *

Такая же дружба была у него и с Раисой Миллер. Даже после того, как они всё же переступили роковую черту, Раиса Николаевна сумела остаться близким ему человеком на всю жизнь. Остаться, прежде всего, другом. Над его кроватью висел портрет Раисы Николаевны – об этом ей сообщает в письме 1974 года невестка Юрия Борисовича, Людмила Лезина, после тревожных писем Миллер: почему давно нет вестей от Юрия Борисовича? Что с ним? Мила пишет ей откровенно – о приговоре врачей: Юрий Борисович обречён, у него рак и больное сердце.

Раисе Миллер напишет он последнее своё письмо – незадолго до своей кончины. Завершается оно так: «Ну, вот, родная, пора кончать. Сердечный привет всем твоим. Как же ты будешь жить дальше... Крепко целую тебя, любящий тебя Юрий...»

Это растерянное, это полное жалости к ней и любви «Как же ты будешь жить дальше...» должно было пронзить Миллер и горькой болью, и счастьем – он всё же её любил. Пусть прощальной, последней любовью, пусть как друга, но любил: «Любящий тебя Юрий...»

Пётр Вяземский, пытаясь найти название своему тяготению к Долли Фикельмон, которая и Пушкина чаровала, взял у французов определение таким взаимоотношениям мужчины и женщины – «влюблённая дружба». Так вот, Раису Миллер с Юрием Софиевым как раз и связывала «влюблённая дружба». Правда, только со стороны Софиева. Миллер его всё же любила глубже, и одной дружбы ей было мало. Не зря писала ему Елена Люц о Раисе Николаевне: «Она тебя любит по-настоящему...»

Она оценила соперницу.

Вот строки из последних, 1975 года, писем Раисы Миллер:

«...Вчера была на углу нашей улицы. Долго стояла и смотрела вдоль улицы. Ясно вспомнила, как ты шёл по ней или же ехал на велосипеде. Больно вспоминать... А ведь была же наша “относительная” молодость. Любила я тебя бесконечно и мучилась. На протяжении стольких лет я сохранила это чувство. Родной мой, теперь старичок, но такой же любимый, как хотелось бы обнять тебя и утешить. Ты мне дал много хороших минут, а плохие – я забыла...»

«...Ты много писал о своём одиночестве. Но, милый друг, пенять можешь только на себя. Сам помнишь, как ты меня принял в мой последний приезд к тебе. Я ведь думала, что не только проживу с тобой немного, но и вернусь потом навсегда. И были бы мы уже вместе до конца дней наших. Вся беда в том, что у тебя нет большой любви и привязанности ко мне...»

«...И всё равно, я люблю тебя таким, как ты есть – стариком и больным. Люблю нежно и, может, теперь больше, чем раньше. Даже наверное – больше, т. к. раньше было чувство страсти, ну а теперь это всё ушло, и осталась цельная и большая любовь...»

«Сирень цветёт, густая, махровая – белая и голубая. Разрослась так сильно, что достаёт до моего окна во втором этаже. Слушаю Листа и пишу тебе. В музыке моё спасение от тоски. В музыке и книгах. Я так тоскую по тебе...»

А он умирал. Он не мог ходить. Он не мог писать. И все её письма оставались без ответа. Но она продолжала писать – в пустоту, где ещё слышен был стук его сердца, которое захлабывалось кровью.

* * *

Раиса Миллер оказалась удачливее Елены Люц. Раисе удаётся совершить несколько поездок в СССР, а Елена так и не смогла поехать. Но ведь Раиса и более благополучна. Семья её устроена. Дочь замужем. Внучки – тоже. Есть дом в Эрмоне – каменный особняк в два этажа, с каминным залом, хорошей мебелью, несколькими спальнями, на стенах – семейные фотографии, декоративные фарфоровые тарелки и работы Модильяни. Есть сад у дома, где семья любит по вечерам пить чай. Там цветут розы и глицинии. Там подстриженные газоны. Там размеренный буржуазный быт.

В этот семейный рай неоднократно заманивался Юрий, но всякий раз он сбегал то в свою походную палатку, то в какую-нибудь убогую парижскую мансарду, где жил на копейки, но зато на свободе.

У Раисы Миллер были, судя по всему, неплохие доходы от работы. Она, вероятно, занималась ресторанным делом. Во всяком случае, говорит, что хорошо его знает. Под одной из фотографий в альбоме Ю. Софиева подпись: «Рая за стойкой буфета в “Советском патриоте”».

Раиса Миллер может позволить себе дорогое путешествие на бывшую Родину – в Москву, Ленинград, Алма-Ату. И в Киев, наверно, ездила. Похоже, она эмигрировала именно из Киева, так как в разговоре с Мамченко говорила о Юрии: «Увезу его в свой Киев!» Везде у неё есть знакомые. В Ленинграде, например, некая Юлия Владимировна. Через неё нашла она, по просьбе Льва Бек-Софиева, семью Ирины и Игоря Братус. С ними Лев и младший брат Софиевых, Максимилиан, дружили, когда жили в Старой Руссе. Война прервала их связь. Помнили Братусы и Юрия Софиева. Учились они несколькими классами ниже Юрия, запомнили его высоким, стройным, застенчивым юношей. «Рыжеватым блондином», как он сам о себе говорил. Но не знали, что он пишет стихи. В поэтах тогда ходил его брат Максимилиан, который отличался тонкой красотой, изысканными манерами, глядел на всех с лёгкой усмешкой. Он постоянно был окружён влюблёнными в него девочками. Одно из стихотворений Макса, где «тихий весенний закат», «гряды пурпурных скал», девушки, за которыми он тайно следует, очарованный их юностью, влюблённый, кончается так:

...И вот завтра всё будет уж в прошлом,
Хоть вчерашнее – прошлое, но покрыто завесой сегодня.
И сжимается сердце предчувствием тёмным
В дождливом тумане грядущего...

Под стихами стоит дата: 29 апреля 1927 года. Через десять лет Максимилиан Бек-Софиев окажется в самых страшных лагерях ГУЛАГа – на Колыме, где погибнет в 1945 году, в возрасте 39 лет. Сбудется его «предчувствие тёмное», от которого сжималось сердце в юности и которое грезилось «в дождливом тумане грядущего»... Но тогда, в юношескую пору, о которой Максимилиан вспоминает в своём стихотворении, всё вокруг дышало любовью и счастьем, и радостный свет заливал молодую жизнь: старший из мальчиков Бек-Софиевых, Юрий, был влюблён в Верочку Фёдорову, младший, Максимилиан, – в хорошенькую Марусю Коведяеву, а друг его, Игорь Братус, попеременно то в Милочку Пантелли, то в Галлу Музиль, а будущая жена Игоря, Ирина, – тайно любила синеглазого Льва Софиева, а Лев томился по другой девушке – необыкновенной красавице, чьё имя мне неизвестно. Портрет своей любимой он увёз в эмиграцию. Ирина горюет: не её портрет, увы! И не соглашается с этим: «Но хранить какой-то мой портрет он должен, я думаю, потому что самой жгучей, самой заветной мечтой моей молодости было: быть для него очень красивой, самой красивой на свете!..»

Ирина и была такой. На фото 30-х годов это ослепительная блондинка – в кокетливой каракулевой шляпке и такой же шубке. А вот она на море – стройная, загорелая, смеющаяся. Море играет с ней. Ирина протянула к нему руку – и море замерло в полёте, застигнутое вспышкой фотокамеры.

Мать Льва, Лидия Николаевна, не жаловала Ирину, как, впрочем, и других девушек своих сыновей.

Через всю жизнь пронесла Ирина память о своей первой любви.

«Вы меня очень растрогали строчками письма Вашего о Вере Фёдоровой, – пишет Юрию Софиеву Ирина Братус. – Как долго живёт в нас память сердца! Мне так же дорога память об этой Троицкой церкви на Успенской улице, о которой Вы пишете, и по той же причине: первая и последняя моя любовь началась там же – да вот с ней я и живу до сих пор. И ничего с этим не поделаешь...»

Их переписка не ограничивается только воспоминаниями детства и юности. Ирина Владимировна рассказывает Юрию Борисовичу о встречах земляков из Старой Руссы, которые периодически съезжаются из разных мест, обсуждают, кто что может сделать для родного города, обмениваются информацией о достижениях староруссцев. Но снова, снова говорит она о Льве: «Память сердца. Долго живёт она. Пожалуй, пока жив человек – жива и она...»

Последний раз Братусы виделись со Львом в Крыму, в 1939 году. «Перед тем, как расстаться навеки» – написано на обороте фото. Там – залитое солнцем море. Ирина смеётся, прикрывается соломенной шляпой, а Лев сидит рядом, уронив ей на плечо бесшабашную, кудрявую голову. Снимает, наверное, Игорь Братус. И такая безмятежность, такое молодое, хмельное, медовое лето озаряет их жизнь, а тень беды уже стоит за плечами...

«Война, блокада, голод, бомбёжки – было всё, – пишет Ирина Братус Ю. Софиеву. – Мы выехали из Ленинграда только 13 марта 1942 года. Мама, Игорь, я. Они оба были очень плохи. Эшелон поехал до Новосибирска, а я их вынуждена была снять в Котельниче. Всё легло на сердце страшной трещиной и, казалось, навсегда уничтожило память о молодости, но оказалось, всё живо, и каждый день отпечатан в памяти, и чем дальше, тем живей. Но только иногда плохо бывает и у меня, как и у Вас, с сердцем. Как я Вам сочувствую!..»

Лев Бек-Софиев думал, что Братусы погибли в войну. Братусы тоже думали, что Лев погиб – Крым, где жил перед войной Лев с матерью, был ведь под немцами. И как же счастливы были Игорь с Ириной, когда Раиса Миллер их разыскала и привезла им весточку от Льва Оскаровича, а потом и от Юрия Борисовича. Они немедленно с ней подружились, и Раиса Николаевна стала связной между Францией и Львом, между Казахстаном и Юрием Софиевым. Ирина Братус трепетно к ней относилась: ведь она видится с любимым Лёвушкой, говорит с ним, привозит от него фотографии.

Но лучше б ей не знать нынешнего Льва!

«Он очень изменился, но, в общем, всё такой же. Только взгляд стал сухим, колючим, жестким – я такого не видела у него. Уже не те синие, как ясные озёра, изумительные, совсем по-детски распахнутые глаза! А шрам на правом виске? Его не было. Седины тоже не было...» – из письма Ю. Софиеву.

Да, Лев очень изменился. Он грубит в письмах, и Ирина в растерянности иной раз – не знает, как ей реагировать на его грубости (от его грубости и дурного характера страдали и Раиса Миллер, и Мамченко с Люц. Правда, он потом непременно со всеми мирился. Резкий характер Лев, скорей всего, унаследовал от матери. Отец был мягким, деликатным человеком).

«Если бы у Льва было хоть вполовину Ваших достоинств и здравого смысла! – пишет Ирина Братус Юрию Борисовичу в Алма-Ату. – Мне его очень жаль: печальный пример, как может мать, обожающая своих детей и обожаемая ими, – сломать им жизнь...»

Лев зовёт Игоря с Ириной в гости, даже что-то предпринимает для их приезда, но Ирина Владимировна боится встречи: «Ни в коем случае не хотелось бы мне встретиться с ним. “Горько встретиться со своей молодостью, особенно когда на душе нет покоя: умиляешься, пробуешь подтрунивать над собой, нежность мешается с горечью...”» (*Эренбург. Люди, годы, жизнь*). Так и у меня... И, потом, Вы же понимаете, что это нереально – поехать к Лёве. А вот он, по-моему, утратил это чувство реальности...» Но тут же восклицает: «Конечно, очень, очень хочется ещё раз встретиться в этой жизни! Сколько было бы вопросов, воспоминаний, рассказов. Всё лучшее, вся молодость связана с ним – и у меня, и у Игоря, но...»

Ирина Владимировна ревнует Льва к жене его, Марии-Луизе, которая появилась у него в 1962 году: «Кто она такая? Почему Лев не показывает её на фото, всюду один? Почему они живут порознь? Да ухаживает ли она вообще за ним? Ведь у него большое сердце, он столько пережил, – спрашиваю из чисто женского любопытства. Кто она и что она? Счастлив ли он с ней? Помогите им, Господи!»

Но не только память о Старой Руссе и первой любви сближала Ирину Братус с Юрием Софиевым. Она то и дело сообщает ему и о культурной жизни Ленинграда, о театральные спектаклях, выставках, о похоронах Анны Ахматовой.

Вот письмо от 30 марта 1966 года: «Девятого марта хоронили Анну Ахматову. Отпевание было в Никольском соборе. Толпы народу, день был сине-золотой, я боялась, что задавят, и не решилась пройти в церковь, стояла на высоком сугробе со своим букетиком фиалок, и вспоминалась наша юность, вся пронизанная её поэзией – это ведь целая эпоха. “Златоустая Анна всяя Руси” – спутница нашей юности и нашей любви. Владя Глинка, как писатель, имел счастье раздобыть её книжку стихов “Бег времени”, 1909–1965 гг., куда входят: “Чётки”, “Вечер”, “Белая стая”, “Подорожник”, “Anno Domini”, “Тростник”. Читаем с Игорем по очереди ...»

Пишет она и о Старой Руссе, которая всё ещё поднимается после немецкой оккупации – город лежал в руинах: «Уроженец Старой Руссы вспоминал о первых днях после ухода из города немцев, рассказывал, как обнаружили замурованных в подвале 30 человек, среди них одна женщина, называл улицы, на которых вынимал из петель наших людей. Немцам не хватало верёвок, вешали на проволоках. Боже мой, ведь это те улицы, по которым утром бежали мы в школу, где жили и работали родители, где любили и выросли – нестерпимо тяжело представлять эти улицы в виселицах! Я до сих пор хожу как больная после этих рассказов...»

То и дело интересуется Ирина Братус, не нужна ли Юрию Борисовичу какая-либо помощь, высылает книги и лекарства. В этом смысле она была очень отзывчивым и деятельным человеком.

Когда Ирина Владимировна узнаёт, что Юрия Борисовича притесняет соседка по бараку на улице Сухомбаева, Светлана К.– «обличьем женщина, а морда крысья», которая, «назло соседу, травит пса стеклом», – Ирина Владимировна организывает письмо в казахстанскую Академию наук, от друзей Юрия Софиева по Старой Руссе. Подсказала ей написать такое письмо подруга детства из Старой Руссы, Милочка Пантелли, которая в своё время была секретарём у С. И. Вавилова и знала, как составлять подобные письма. В защиту Софиева с требованием отселить от него злую соседку выступили два академика, несколько профессоров, полярник, персональные пенсионеры и т. д.

Ирина полностью солидарна с Юрием Борисовичем, что нельзя оставлять без внимания любую жестокость, потому что:

От мелочей полшага до большого –
До бомбами разорванных детей,
До торжества всего, извечно злого,
До оправдания лукавым словом
На ненависть помноженных смертей...

Ю. Софиев свою борьбу с фашиствующей соседкой закончил стихами (это его строки) и – смирился. Он убедил Ирину Братус письмо в Академию наук не посылать. Но не тут-то было! Последовало заявление из Института зоологии КазССР, организованное его воздыхательницей Г. В. и другими женщинами, стоявшими за Ю. Софиева горой. С одной из них, Марией Константиновной, переписывалась Раиса Миллер. Миллер сообщала новости, полученные от Марии Константиновны, Ирине Владимировне в Ленинград. Ирина Владимировна о делах Ю. Софиева писала Раисе Миллер в Эрмон. Раиса Миллер – снова Марии Константиновне в Алма-Ату. Так, по «дамской почте», о «барачной войне» Юрия Софиева стало известно сотрудницам Института зоологии. Они подали иск прокурору Калининского района Алма-Аты, в котором говорится, что преступная соседка уважаемого человека и большого поэта Юрия Борисовича Софиева не только «травила пса стеклом», но и буянила, пила, терроризировала остальных соседей на улице Сухомбаева, кроме того, она уже привлекалась к уголовной ответственности – за воровство, сидела и в тюрьме родила девочку от главаря воровской банды, в которой состояла. Таким не место на свободе!

Защитницы Ю. Софиева не знали, в чём истинная причина буйства Светланы К. А причина была банальной: Светлана К. влюбилась в его сына, Игоря, который был в разводе. Она имела виды на него, а тот избегал её общества, однако мальчика Серёжу они успели родить.

До брака со мной Игорь Софиев был несколько раз женат. Расставшись с первой своей женой, Софьей Львовной Вышневецкой, он решил не связываться больше с интеллигентками, а «пойти в народ» – попробовать жить с женщиной из «простой», рабочей среды, но жизни не получилось. Вот Светлана К. и взбеленилась.

Игорь же переметнулся снова к «интеллигентке» – к поэтессе Людмиле Лезиной. Людмила была из семьи крупного советского руководителя, но она с юных лет встала в оппозицию к своему окружению, чем приводила в ярость крутого нравом отца, а мать постоянно огорчала своими выходками. Она была типичной шестидесятницей-диссиденткой, любила полуночничать на кухнях друзей, где кипели споры, крушились основы лжекоммунизма, клубились тучи табачного дыма и алкогольных паров, где читались новые стихи, пелись песни под гитару и вспыхивали и погасали молниеносные романы. Людмила уже дважды побывала замужем – сначала за поэтом, странноватым и не от мира сего Виктором Мармонтовым, а потом за пишущим длинные поэмы толстяком Иваном Марьетой.

В писательской среде ходила эпиграмма о Лезиной и Марьете: «Нет повести печальнее на свете, / Чем повесть о Людмиле и Марьете». Жили по чужим углам, иногда – вообще нигде, на улице. Пили. Дрались. И – писали стихи. Людмила складывала их в хозяйственную сумку, где обитал у неё и котёнок. Но какие это были стихи! Какое чистое чудо, осиянное детским очарованием, выросло из житейского сора и срама.

Теперь уж нет той гордости бывалой,
 Когда сама из леса приводила
 Шмеля, чтобы летал над головой,
 Сову, чтобы очами поводила...

...Живу на территории ничьей
 И знаю, что всему хозяин Бог,
 Но нет к нему молитвы и дорог...

* * *

Пойду по лесам – будут птицы мне петь.
 Пойду по морям – будут рыбы свистеть.
 Пойду по лесам –
 будут волки мне вслед смотреть
 И хвостами вилять.
 Разве я одинока?

* * *

Друзей не знала я,
 А родину – не помню...
 Застал в пути меня рассвет.
 Меня смешила белка на сосне,
 И развлекала ящерица в полдень...

* * *

Дай мне, жизнь,
 Отдышаться от боли!
 Постоять на твоём косогоре,
 Отдышаться мне дай,
 Не молчи!
 Кто-то тихо кочует в ночи,
 Кто-то тихо живёт у огня.
 ...Дай коня!

Выйдя замуж за Игоря Софиева (с ним она прожила в браке 25 лет), Людмила снова бросила вызов семье: он – сын белого офицера-эмигранта! Отец Людмилы был в бешенстве: его классовая ненависть не знала границ.

После смерти родителей получив в наследство дачу в пригороде Алма-Аты, Людмила бросила город, писательскую богему и поселилась на даче, где занялась разведением цветов невиданной красоты. На цветы и жили: она, Игорь и маленький их сын Ярослав. Но вместе с отречением от прежней жизни ушли и стихи. Людмила Лезина больше не писала. Никогда. После неё остались три небольших книжки: «Новые стихи», «Герань» и посмертная – «Глория Деи».

Светлана К. начала войну против Людмилы. Она шла на разные хитрости, чтобы вернуть Игоря, но ничего у неё не получалось. Тогда она принялась за его отца.

Во-первых, узнав, что Юрий Борисович был в дальнем родстве с Максимом Горьким, Светлана потребовала от него сообщить ей, в каком именно родстве, а также пусть он скажет адрес, куда она напишет письмо. Ведь получается, что и сынишка её, Серёжка, тоже родственник «буревестнику революции», а всем его родственникам – считала Светлана К. – государство обязано дать хорошие квартиры и прочие блага.

Во-вторых, комната в бараке на Сухомбаева, где жил Юрий Борисович, тоже теперь принадлежит ей и её сыну. От претензий своих она откажется только в том случае, если Игорь добровольно полюбит её и женится, бросив Людмилу Лезину.

Но Софиевы не шли ни на какие компромиссы. Тогда она стала сживать их со свету.

И всё же Светлана была матерью Серёжи, которого Юрий Борисович обо-жал. Серёжа очень похож на деда. Из него вырастет красивый юноша – такой же белокурый, стройный, с тонкой костью, как дед Софиев. И так же полюбит он путешествия, приключения, как дед. Сергей впоследствии станет спелеологом и обследует все пещеры Крыма.

Ю. Софиев остановил уголовное дело против Светланы К. и уж не рад был, что рассказал о своей беде Ирине Братус. Он попытался разрешить конфликт собственными силами: обратился с родственным письмом к отцу Светланы и убедительно просил повлиять на дочь, так как, убеждал он его, Светлана с Игорем не пара. Это уже очевидно! Тем более что у Игоря теперь новая семья и ребёнок.

Но Светлана К. не уgomонилась и слала своей сопернице записки от «добро-желателя»: «Остановись! Остановись, пока не поздно! Он – мой! Ты не знаешь, с кем связалась!»

Людмила Лезина отдала Светлане К. свой дорогой перстень – единственное богатство, какое у неё было, – ради примирения. Дала и денег, чтобы Светлана К. с сыном могла выехать к родственникам в Севастополь. Только тогда «барачная война» затихла, о чём была уведоmlена Ирина Братус. Она была счастлива, а вслед за ней – и Мария Константиновна с женской частью Института зоологии, и Раиса Миллер.

Ленинград, Старая Русса, Алма-Ата и Эрмон могли спать спокойно.

И, конечно, неугомонная Ирина Владимировна всячески пытается устроить совместную жизнь Юрия Софиева с Раисой Миллер: «Мне кажется, она очень большой Ваш друг – в первую очередь, и очень страдает от невозможности быть рядом».

В каждом письме она упоминает о ней, как и о любимом Лёвшушке: «Вы помните, Юрий Борисович, что у Лёвы 24 ноября день рождения? Я через Раису Николаевну послала ему чудесную книгу “Кизи” – может, она успеет дойти к этому дню. Каждый год я отмечаю тайно его день...»

Она приглашает Юрия Борисовича в Ленинград, когда туда приезжает Миллер. Хочет даже сама ехать за ним, чтобы привезти к себе, так как Раиса Николаевна жалуется в одном из писем к нему: «О желании меня увидеть ты ничего не пишешь... Но я тебя, одинокого и больного, всё равно очень люблю и ревную ко всем окружающим... Когда ты уезжал, то он (внук Р. Н. Миллер, Филипп. – Н. Ч.)

лежал в люльке, а теперь ему 14 лет, и он на две головы меня выше. Я часто со щемящей тоской вспоминаю этот день... Как могло бы быть всё лучше... Ты по своему счастлив, а я без тебя – несчастна...»

Как это совпадало с романтическими переживаниями самой Ирины Братус! Она несчастна без Льва Бек-Софиева, а он счастлив с этой странной эстонкой Марией-Луизой. Но в то же время она беззаветно любит и своего мужа Игоря, спасённого ею во время блокады Ленинграда, и своего позднего сына (Андрея она родила, когда ей было сильно за тридцать), и брата, который на её попечение, и в «аварийных ситуациях» он вызывает сначала сестру, потом уж врача. Ирина Владимировна пишет о своей семье: «Они считают, что я существую, чтобы оберегать их от всех зол. И вся моя жизнь проходит в непрерывных тревогах, заботах и думах о них. Сколько бед, болезней, горя, страшных часов было в жизни из-за них, но со мной ими невзгоды эти переносились легче. Они знают об этом...»

А пишет она всё это вновь обрётённому другу, Юрию Софиеву, потому, что и его «хотела бы вытащить из болезней, наладить и здоровье его, и быт, чтобы ему было спокойно, уютно и хорошо...» А хорошо ему и уютно может быть только с Раисой Миллер, считает она.

Так что в лице старорусской знакомой Юрия Борисовича Раиса Николаевна обрела надёжную союзницу, готовую к любому проявлению своей деятельной натуры.

* * *

Кто был мужем Миллер и куда он подевался – не знаю. На фото 60-70-х годов он не присутствует, и в письмах Раисы Миллер не упоминается. Известно только, что у неё есть дочь Мара, которая родилась в 1925 году. Мара замужем за французом по имени Жак. У них трое детей: подросток Филипп и две прелестных девушки на выданье, Мишель и Анни. Потом внучки выходят замуж, у Раисы Николаевны появляются правнучки. Одна из внучек, Мишель, замужем за дантистом, они очень обеспеченные люди. У них свой особняк, автомобиль. Впрочем, автомобили есть у всех: и у младшей внучки, и у дочери Раисы Николаевны, Мары, а внук Филипп гоняет на мотоцикле, и длинные его волосы развиваются на ветру. «Такая теперь у молодёжи мода, – пишет Раиса Николаевна, – длинные волосы. Филипп похож на русского парня, но русский забросил и говорит на нём с трудом...»

Отношения с Юрием у Раисы Миллер начались, скорей всего, ещё до войны, в тридцатые годы. Был ли у неё тогда муж – неизвестно. На фото тех лет она всё чаще под ручку с Юрием Софиевым. Раиса Николаевна ещё довольно худощавая, но потом быстро располнела и превратилась в матрону.

Вот фото 1946 года. Миллер гладко причёсана. Волосы её уложены над ушами двумя крутыми волнами, а в ушах – маленькие жемчужные серёжки. На тёмном костюме, у правого плеча – большой белый цветок. Если были бы видны руки, то на них – непременно дорогие браслеты и тяжёлые перстни. Она любила украшения и носила их в избытке, но выглядело всё это изысканно. На обороте фото надпись: «Моему дорогому и самому любимому другу. Рая. 1.XI.46 г.»

Как пишет в одном из писем к Юрию Елена Люц: «Ещё при жизни Ирины (т. е. жены Юрия. – Н. Ч.) Рая была твоей женой», хотя другу своему, Мамченко, и потом Ирине Братус Софиев признаётся, что с Раей у него всё началось в

Ла-Рошеле, когда Франция уже оправилась от войны, но ещё не достигла своего нынешнего благополучия, то есть где-то в 1948 или 1949 году. Кто прав, кто причинил – Бог весть! Но дело не в датах – дело в отношениях.

С Раисой Миллер, как и с Еленой Люц, он путешествовал на велосипедах – и это факт неоспоримый. Юрий очень любил такие путешествия, и в свободное время отправлялся с разными спутниками и спутницами на юг, к океану. Однако с Раисой Миллер в этом вояже гармонии не получилось. Она тяготела к цивилизации, к устроенному быту, а Юрий навсегда остался странником и мало заботился о «нормальной», с мещанской точки зрения, жизни. Раису Николаевну это раздражало. Она пыталась переделать его, но – тщетно. Он тогда вовсе выскальзывал из рук.

В письмах к нему в Алма-Ату она требовала, чтобы он к очередному её приезду добился благоустроенной квартиры и как следует поправил своё здоровье, чтобы в хорошей был физической форме, поскольку она женщина ещё крепкая, и он должен ей соответствовать. (Скорей всего, они были ровесники, ну, может, Раиса Миллер чуть-чуть моложе: 1902 либо 1903 года рождения, но всё равно ей сначала за пятьдесят, а потом – и за шестьдесят. Возраст для нового брака серьёзный, но она к нему готова.)

И брат Юрия, Лев (с ним Раиса Николаевна дружила смолоду, у них даже роман чуть не случился), и друг Юрия, Виктор Мамченко, активно участвуют в устройстве их совместной жизни, всячески агитируют Юрия обратить внимание на Раису Миллер и покончить, наконец, с холостяцким положением. Значит, к концу 50-х, в 60-е годы Раиса Николаевна была уже определённно без мужа. И в одном из писем, не дождавшись от Юрия никаких предложений, она говорит, что хочет снять отдельную от детей квартиру и жить в покое. Уходить в старческий дом она не решается: ей там не хотят выделять отдельную комнату, да и всю пенсию придётся отдавать.

Скорей всего, особняк в Эрмоне принадлежал мужу Мары – французу Жаку, которому Юрий Борисович посылал почтовые марки, и тот собрал приличную коллекцию, за что регулярно его благодарит. Значит, Раиса Николаевна жила в семье дочери. Внучки её вышли замуж тоже за французов, и произошла неизбежная для эмигрантов ассимиляция. Р. Н. Миллер с грустью по этому поводу сообщает Юрию: «Относительно моих записок (воспоминаний), вот что. Конечно, в них я затрагиваю, кроме личных переживаний и событий, которым мне пришлось быть свидетельницей, мою любовь к Родине, мои поиски и суждения о хорошем и о плохом, и т. д. Эту тетрадь я просила Марочку сжечь после моей смерти. Она в семье никому не нужна. Никто по-русски не читает. Моё я хочу оставить лишь себе. Это моё право...»

Может, потому ещё стремится Миллер к Юрию – несмотря на его упрямство! – что лишней стала в семье: внучки выросли, живут самостоятельно, мужа нет, поговорить о «своём» – не с кем. Чтобы как-то раззадорить Юрия, кокетничает: мол, один старичок-француз предлагает ей вместе провести каникулы на море, но она отвергает его ухаживания, поскольку хранит верность «любимому Юрочке», да и возраст уже не тот, чтобы заводить адюльтеры. Она хочет семью. И как бы в укор ему роняет, что стихи его из журнала «Простор» ей переслал Лев Бек-Софиев. «Спасибо ему: он всегда обо мне думает». Подтекст такой: а ты – не думаешь, ты – забыл. Но тут же и прощает его, жалеет: «Все твои стихи больны печалью. Вот почему я волнуюсь, не имея по месяцам от тебя вестей...»

* * *

«Дорогой мой Юрий, вчера я встретился с Раисой Николаевной, и беседовали о тебе, конечно... – пишет В. Мамченко. – Р. Н. мне кажется замечательным человеком – энергичной, доброй и умной. Беседуя с ней, я всё время чувствовал ясность её планов, какую-то чёткость мышления, способность к верным поступкам... Р. Н. говорит о тебе: “Увезу его в мой Киев, это – чудесный город-сад, ни к чему ему какой-то садишко, заросший бурьяном, когда на улицах Киева райские сады, и пусть он (т. е. ты) работает там, как захочет и что угодно, а я, ради него, пойду хозяйничать в какую-нибудь столовую или ресторан, у меня огромный опыт для такого дела: я знаю языки, да и сил у меня достаточно. Одно только условие: Юрий должен переменить свой образ жизни...”

Вот, мой дорогой, с Р. Н. я вполне согласен: тебе надо переменить физический и моральный быт! И здоровье твоё улучшится обязательно. Да и то, что для тебя так ценно – культура не в «случайностях», – в Киеве будет окружать тебя добрыми условиями. И, если уж заскучаешь по своей работе художника-иллюстратора, – пожалуйста, и в Киеве найдёшь работу на дому, т. е. чтоб работать у себя. Но лучше бы – войти в литературную среду, по прямому призванию!...»

Юрий молчит на все увещевания.

Мамченко пишет к нему снова:

«Дорогой Юрий, от Р. Н. сейчас получил письмо, в котором она говорит о невозможности приехать к тебе в Алма-Ату – по твоей же вине, из-за твоей непутёвости, и таким-то я тебя всегда знал, с первых наших где-нибудь свиданий, на которые ты регулярно опаздывал на 2-3 часа...»

«Дорогой мой Юрий, ты волен, конечно, не писать мне месяцами, но то, что ты вдруг “замолчал как проклятый” в решающее (многое!) время для Р. Н., кажется мне хуже всякой критики... Твоё молчание (да и вообще все твои “запаздывания”) никак нельзя оправдать каким-нибудь заболеванием или ещё чем-то, т. к. и на смертном одре можно быть внимательным к людям...

Сейчас я после свидания с Р. Н., потому-то и в гневе на тебя, потому что видел Р. Н. в большом смятении, она не знает, что и думать о тебе. Думает, что с ума сошёл...

Как сам знаешь, “семейная виза” не пришла вовремя (теперь только, может быть, пригодится для будущей весны), а с визой туристической Р. Н. дольше двух недель не выдержит (денежно). Причём, не получая от тебя никаких вообще “да” или “нет”, она не решается ехать к тебе. Говорит, что проще ей поехать в Ментону, чтоб не потерять, в конце концов, необходимое время летнего отдыха. Чушь какая-то с тобой, мой друг! Конечно, тебе всё это должно быть видней – как и что, но кажется мне, что со всеми этими “как и что” можно было бы быть проще, яснее, что ли... Хочется верить, что ты ей хоть на телеграмму ответишь (надо же до такого дойти!). Она меня просила написать, я согласился с условием – выругать тебя как следует, что и делаю. Voila...»

Наконец Юрий пишет Виктору подробное письмо, где объясняет свою позицию по отношению к «очаровательной Раисе Николаевне». Черновика этого письма я не нашла, но, вероятно, оно в какой-то мере повторяет письмо к Ирине Владимировне Братус в Ленинград. Она ведь тоже – параллельно с Мамченко – уговаривает Юрия Борисовича жениться на Раисе Миллер и, может, ради этого

переехать к ней в Эрмон или хотя бы принять её у себя в Алма-Ате и там решить всё окончательно. Могут они встретиться и у Братусов в Ленинграде – Ирина с Игорем будут только рады.

Послание Софиева к Ирине Владимировне снова не просто письмо, а небольшое литературное эссе, которое он запечатлел в дневнике – скорее, для объяснения с самим собой, для формулирования своей позиции.

«...Дело в том, что я вовсе не отрекаюсь ни от тонких французских вин, ни от превосходной кухни, и, может быть, у меня тоскливо заноеет под ложечкой, если я вдруг вспомню, что уже 10 лет не дышал солёным морским ветром и не ощущал на языке железистый вкус устриц или остроту мюнстерского сыра.

Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.

Но если всего этого нет – решительно ничего не меняется в моей жизни, и я вовсе не чувствую ни огорчений, ни обид на злодейку судьбу.

Я с детства был страстным “индейцем” и мечтал о вигваме. Потом меня зачаровал Блок (на всю жизнь):

...Смотрит чертой огневою
Рыцарю в очи закат,
И над судьбой роковой
Звёздные ночи горят.
Мира восторг беспредельный
Сердцу певучему дан.
В путь роковой и бесцельный
Шумный зовёт океан.
Сдайся мечте невозможной,
Сбудется, что суждено.
Сердцу закон непреложный
Радость. Строптиво оно!
Путь твой грядущий сказанье
Шумный поёт океан.
Радость, о радость-страданье –
Боль неизведанных ран!
Всюду беда и утраты.
Что тебя ждёт впереди?
Ставь же свой парус косматый,
Меть свои крепкие латы
Знаком креста на груди!

И ещё образ Гумилёва:

...Тот безумный охотник,
Что взойдя на нагую скалу,
В диком счастье, в тоске безотчётной
Прямо в солнце пускает стрелу.

Не знаю, потому ли, что напророчили поэты, но, в общем-то, все эти огневые закаты, звёздные ночи, восторг беспредельный, скитанье, путь роковой и бесцельный и т. д. довольно основательно заполнили жизнь, и (бифштекс) оказался совершенно бессильным, чтобы со всем этим наваждением бороться. Словом, благоустроенный быт оказался в загоне.

Благослови высокую судьбу:
Мы бедствия и странствия узнали...

* * *

Блажен, кого судьба бросала
В юдоль изгнанья и войны...

* * *

Вне всяческих благополучий
Не стал ли мир для нас светлей?
Мы сами проще и мудрей,
И наша жизнь полней и лучше?
(Ю. Софиев)

Возможно, что это в какой-то мере всего лишь реминисценции, ибо задолго до нас это было высказано и, конечно, с большей силой.

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...

Но небольшая разница состоит только в том, что благополучнейший Тютчев (великий и гениальный, конечно), живя в благополучнейшую эпоху, пришёл к этому прозрению умозрительно, а наше поколение – активным путём, побывав на пиру у богов и, откровенно говоря, обожравшись в достаточной мере этой “божественной пищей”.

А небрежение к быту вошло у меня в дурную привычку, и для “полного счастья” мне вовсе не нужны шифоньер, сервант и прочие чарующие многочисленные наименования чудесных предметов, но Раю, при всей её поэтической любви к закатам и звёздным ночам, я знаю, это весьма огорчает. Уже потому, что в женском обиходе всё это совершенно необходимо, и это невозможно заменить холостым, походным чемоданом под кроватью.

Ну, вот, я боюсь, что месячное пребывание у меня в “деревенской глуши”, в моём вигваме, среди буйных джунглей моего сада может несколько снизить её высокий патриотический накал.

Как-то в послевоенные годы, когда Франция не пришла ещё ни к своему прошлому, ни теперешнему благополучию, но, во всяком случае, уже достаточно оперилась после оккупации, я путешествовал на велосипеде с палаткой в багажнике по её юго-западному побережью, точнее, вдоль Бискайского залива, до самой испанской границы. В Ла-Рошеле меня настигла Рая и потребовала, чтобы из палатки я перебрался в отель. Через несколько дней она села на поезд, а я на велосипед, и мы отправились через Байону, Биариц в

Сен-Жан-де-Мод, чудесное местечко недалеко от испанской границы. Тут я решительно потребовал реванша: категорически отверг отель и поставил мою палатку на самом берегу Атлантического океана, на высоких скалах, под палящим солнцем. За миллионы лет беспокойные бискайские волны вырыли в скалах ниши, и потому днём и ночью под палаткой раздавались глухие удары огромных океанских волн.

Как-то наутро оказалось, что вместе с нами ночевала в палатке и огромная полевая крыса. Все эти прелести “на лоне природы” окончательно довели бедную Раю до отчаяния, но границ самопожертвованию её не было конца, хотя на третью ночь, полумёртвая от страха, уверенная, что земля под палаткой рано или поздно должна провалиться в море, она переселилась в отель, а наутро уехала в Париж...»

Юрий умалчивает о том, что пока перепуганная ночёвкой в палатке Рая мчалась на поезде в Париж, а её возлюбленный продолжал путешествие на велосипеде, он встретил – неожиданно, как всегда! – восхитительную незнакомку по имени Мария.

О том несколько строк и стихи в дневнике 1959 года:

...Сегодня вспомнились мне Пиренеи,
Бискайского залива грозный шум,
Среди движенья образов и дум,
Далёкий образ предо мною реет...

1

Мария! Кудри чёрные, как смоль!
В них синева морская отражалась.
Колелеет память сладостную боль,
Запечатлев навек любую малость.
Под гул волны я слушал голос твой,
Гортанный голос, низкий и горячий.
Потом сияла ночь. Шумел прибой.
Цвели магнолии на белой даче...
И вновь неумолимый зов дорог.
Звенели рельсы, или за кормою
Вода бурлила, иль шумел поток
На дне канала, где-то подо мною!
Я многим это сердце отдавал.
Тебя затмить они могли, быть может,
Но никогда я женщин не встречал,
Хоть отдалённо на тебя похожих.

2

Твой южный край, где дремлют Пиренеи,
Мария! Я навеки полюбил.
Где видно с гор, как океан синее,
Где эти кудри тёплый ветер бил.

За преданность в глазах полузакрытых,
 За тёплый шёлк доверчивых колен,
 За привкус губ, покорных и (...),
 За неожиданный блаженный плен –
 Спасибо и прощай! Опять свобода
 Неугомонную волнует кровь.
 Но жадной памятью я сохраню на годы
 Твою короткую, ревнивую любовь...

Стихи эти – великолепные, на мой взгляд! – Юрию Борисовичу не нравятся. Скорей всего, потому, что воспоминания ярче и полнокровнее: «Стал писать я не только посредственные, но и просто плохие стихи. Вероятно, по ряду, уже личных, причин. Думается, что лучшие вещи были написаны в годы 35–47-е. И не могу я вылезти из пятистопного ямба... Рифма у меня всегда была бедной. Теперь стала ещё беднее, но и сознательно не придавал я этому большого значения. Самое верное, с моей точки зрения, в поэзии – интонация и то, что мы называем “магией поэзии”, магией слова. Она вспыхивает и в короткой песне: “Едут с товарами в путь из Касимова / Муромским лесом купцы”, и у великих поэтов: “Ночь тиха, пустыня внемлет Богу / И звезда с звездою говорит...”, переключка парохода с пароходом на реке у Блока...»

Он, как всегда, увлёкся размышлениями о поэзии, а надо же дописывать письмо Ирине Владимировне Братус, чтобы и высказать ей свои резоны, и Раю не обидеть: «Вот почему я несколько озабочен, чтобы как-нибудь сделать пребывание Раи в моём вигваме максимально приятным. Конечно, мне было бы легче построить виллу на Луне или Марсе, чем, скажем, провести водопровод, газ, центральное отопление, соорудить ванную комнату, тёплую уборную и т. д., к её приезду, тем более что я упрямо продолжаю думать, что живу совсем неплохо...»

Ирина Владимировна Братус горячо защищает Раису Николаевну: мол, нет, у Раисы Николаевны вовсе не серванты и разные удобства на первом месте, зря Юрий Борисович так думает о ней. Она хочет быть с ним, хочет жить семьёй и ради этого готова оставить Эрмон, дочь, внучек, налаженный свой французский быт. Но Юрий Софиев плохо в это верит, хотя ему и льстит, наверное, её преданность. Он пишет Раисе Миллер ностальгически о той их поездке вдоль Бискайского залива, о которой рассказал Ирине Владимировне Братус:

«...Вот видишь, сколько воспоминаний ты возбудила во мне своими открытками... Наши тени хранят скалы бискайских берегов, St.-Jean-de-Luz и рыбацьи паруса Ла-Рошели. Хотя ты там очень мучилась, когда я вырвал тебя из отеля и поселил в моей палатке, но, однако, это были те берега Атлантики, от которых началось наше совместное плаванье в жизни. По моей вине достаточно сумбурное и неудачное, может быть, всё из-за той же “Музы дальних странствий”, с детских лет я всегда был верен ей.

Однако прошло с тех пор два десятилетия, а мы всё сидим в одной лодке, только на огромном расстоянии друг от друга, но, всё-таки, как мне кажется, тянемся с печалью и радостью друг к другу...»

Тянется-то он, тянется, но не приближает к себе. И на все аргументы Ирины Братус – в пользу его брака с Раисой Миллер – Юрий Софиев устало отвечает:

нет, это невозможно. Он старый, больной человек. Какая женитьба? Увольте! Но и тут у оптимистки Ирины Владимировны есть козырь: ну и что, старый, и что больной? Вон, брат его, Лев, женился же после инфаркта, и тоже уже не мальчиком, и ничего – замечательно живёт! Ещё и путешествует. Ну, было же, было у него к Раисе Николаевне хорошее чувство, и теперь есть. Это же его слова: «Прошло с тех пор два десятилетия, а мы сидим с тобой в одной лодке... Мы тянемся с печалью и радостью друг к другу...» Раиса Николаевна показывает ей это письмо.

Однако Виктору Мамченко Юрий говорит о своих отношениях с Раисой Николаевной несколько в ином тоне, чем в ностальгическом письме к ней, за которое ухватилась Ирина Братус:

«...И вот выясняется, что я очень люблю нашу жизнь (*т. е. советскую. – Н. Ч.*), может, потому и тревожусь за Раю. Ведь если она не полюбит её так же, как я, не почувствует её органически своей – мы неизбежно станем чужими, а может быть, и станем раздражать друг друга. И ещё очень хорошо, что я у себя дома, а не на *place Notre-Dame de Paris*, потому что всем своим существом я знаю, что тот мир, со всеми своими “обольстительными прелестями”, глубоко, даже как-то гневно, чужд и враждебен мне, а наш – свой, даже со всеми своими молодыми уродствами, даже и с “ветхим Адамом” дорог и нужен мне, и он лучшее, что я знаю. Он смотрит в будущее, и я верю, что жизнь, люди и время его подправят.. Вот почему моё приобщение к нашему миру (я не возвратился, я впервые сознательно в него вступил) было логическим завершением моего жизненного пути с мучительно противоречивыми исканиями, сомнениями, надеждами, верованиями, в общем-то с нелёгким жизненным опытом. И я часто думаю, Виктор, что и тебе нужно было бы быть здесь. И прежде всего, для тебя самого. Хотя (во всяком случае первое время, пока бы привыкли), думаю, что тебе было бы труднее, потому что ты нетерпеливее и максималистичнее меня...»

Эти ли письма Софиева или были и другие, более откровенные и точные, но они убедили Мамченко, что Юрий и Раиса Николаевна не могут быть вместе.

«Дорогой Юрий, с твоим замечательно дальновидным письмом я обязательно познакомлю Р. Н., – пишет Мамченко. – Она не сможет не согласиться с твоим умным сердцем сказанным в письме так просто и ясно! С тобой я глубоко согласен, да и опытность наша такая, что глупость нам может быть зачтена как преступление. Мне теперь будет легче беседовать о тебе с Р. Н.!...»

Но легче не стало при беседах с упрямой Раисой Николаевной. Она, как декабристка, готова пожертвовать всем и ехать вслед за любимым на край света.

Однако он ничего не хочет менять в своём бытии. Не хочет предавать память Ирины Кнорринг – спасительную для него, ограждающую его от брачной зависимости. Он не хочет отказываться от пушкинских «покоя и воли». Его даже не очень волнует уже и отсутствие публикаций на Родине, на что указывает ему с горечью Раиса Миллер.

Он вспоминает слова Некрасова: «У меня нет желания писать стихи для того, чтобы прочесть их двум-трём лицам и спрятать в ящик письменного стола, да и такая пустота в голове: никакой мысли подходящей нет, чтобы написать что-нибудь...»

Юрий приписывает: «И у меня сейчас нет ни одного человека, которому бы у меня явилось желание прочитать стихи...»

Но он их всё равно пишет, так как достиг уже того творческого состояния, когда земной читатель не важен. Когда разговор идёт уже с Небесным Творцом, когда перед Ним отчитывается поэт о своей душе и своём таланте. Когда совершается над поэтом Суд Божий, и суд людской уже не нужен.

«Одиночество страшное. Тревога. И свой собственный суд, нелюбезный, над собственным пройденным путём.

Среди разбросанных воспоминаний
К дням неоправданным опять иду.

Сознание непоправимости. И никого вокруг. Как ничтожно мало сделано. Как бессмысленно, лениво размотана жизнь...»

Он пишет дневник. Он живёт сам собой. Душой своей. И в том находит счастье. А ещё он – постепенно умирает, и знает об этом, и не хочет обременять и так настрадавшихся женщин печальными сумерками своего угасания...

* * *

Письма Елены Люц собраны в отдельную папку и все до одного сохранены Ю. Софиевым. Открытки же от Раисы Миллер с видами Парижа изрезаны, от них отчекрыжены, видимо, особо интимные излияния стареющей подруги. Из этих открыток Юрий Борисович составил альбом для нового внука – Ярослава с назиданием: вот лучший город мира, где родился твой отец и 30 лет прожил твой дед!

Письма Раисы Николаевны были рассыпаны по всей кладовке Софиевых, и я их собирала буквально по листочку. Их много, написанных неразборчивым почерком, строчки клонятся вправо, часто попадают буквы дореволюционного алфавита, пересыпанные французским текстом. Миллер писала в Алма-Ату часто, на тонких листках папиросной бумаги, угрожая приехать снова, чтобы вновь уговаривать «любимого Юрочку» жить вместе и чтобы устроить ему «цивилизованные условия жизни».

Но жить с Раисой Николаевной Юрий Борисович категорически отказался. Его сын и невестка знали об этом и относились к ней сдержанно, по временам даже неприязненно. Она обижалась и боялась, что её могут попросту не принять, если она однажды приедет, проделав столь трудный путь, ведь Юрий Борисович в начале 70-х годов стал жить в семье сына и перестал быть хозяином положения, как в бараке на Сухомбаева, где она гостила прежде. Он и не приглашал её в новое своё жилище, но она всё равно рвалась к нему, готова была снять номер в гостинице, платить большие деньги, но примчаться к нему – хотя бы на неделю! – обнять, услышать его голос, увидеть его любимые глаза.

А вот Елену Люц он звал всегда. Он готов был воссоединиться с нею – в любом варианте. Только ли с нею или же с ней и Виктором. В одном доме с ними или – рядом, но в одном городе. И лишь во Францию не хотел больше возвращаться, хотя Раиса Миллер предлагала ему вернуться – кое-кто ведь вернулся. Нет, ни за что! Снова мыть окна магазинов? Снова нищенствовать и скитаться по чужим углам? Терпеть чужбину ради призрачной славы и творческой среды? Да и не было там уже прежней творческой среды, не было поэтических споров в дешёвых кафе на Монпарнасе, только тени былого остались в тесных улочках Латинского квартала, только отзвуки молодых голосов, читающих русские стихи...

* * *

Некоторых может смутить такой альянс: предложение жить втроём – Юрий, Елена, Виктор. Но для эмигрантов, особенно творческих людей, такое сосуществование не было чем-то из ряда вон выходящим или двусмысленным. Так жили одно время «два Жоржика»: Георгий Иванов, Георгий Адамович и жена Г. Иванова – Ирина Одоевцева. Тут не было никакого любовного треугольника – и не могло быть: Адамовича не интересовали женщины. Но так, втроём, им легче было выживать, поддерживая бездомного и бессемейного Адамовича, который страдал ещё и игроманией: как-то он даже проиграл в казино приличное наследство, что оставила ему тётушка. Один раз Ирина Одоевцева отыграла его долг – у неё был талант к карточной игре, но она им пользовалась только в исключительных случаях, чтобы не искушать судьбу. Она была суеверна и, живя ещё в Петербурге, где и обнаружился у неё карточный дар, дала себе клятву никогда не играть.

Так – коммуной – жил когда-то и Тургенев Иван Сергеевич, при семье Полины и Луи Виардо, и даже дочь его, рождённая от русской крепостной крестьянки, какое-то время воспитывалась вместе с детьми Виардо во Франции.

Так жил Иван Бунин. В его семейном доме, на вилле «Жаннет» в Грассе, вообще поселилась целая компания молодых писателей.

Вот как об этом пишет в своей книге о Бунине 1941 года В. В. Сухомлин:

«Бунин живёт на вершине холма в вилле, представленной ему до конца войны знакомой англичанкой, уехавшей после падения Парижа на родину.

Кроме Буниных, на вилле живут два “молодых” эмигрантских литератора, Бахрох и Зуров, поэтесса Галина Кузнецова и её мужеподобная приятельница, сестра философа Степуна».

В «Разрозненных страницах» Ю. Софиев вспоминает о Галине Кузнецовой: «Галина Кузнецова появилась на русском литературном горизонте в 1925–1926 гг. Она была очень красивой, очаровательной женщиной, разведённой женой адвоката Петрова, и среди “молодых” тотчас было отмечено её дарование. Среди “стариков” она, прежде всего, покорила профессора Гофмана, и злые языки утверждали – не столь дарованием, сколь женской прелестью...»

Да, Галина Кузнецова была ещё та особа! Не только хороша собой, не только талантлива, но и весьма игрива, с порочными наклонностями.

Ю. Софиев в своём дневнике описывает такую картинку: возле пианино в доме Буниных сидят Галина Кузнецова и «мужеподобная сестра философа Степуна», они любезничают, обнимаются и говорят, что мужчины нынче никуда не годятся, они ничего не понимают в любви, а вот их с Галиной любовь – настоящая, одно плохо: от этой любви не может быть детей.

И другая картинка, из письма Ю. Терапиано Ю. Софиеву в Алма-Ату, от 16 декабря 1962 года. Он вспоминает об общей с Ю. Софиевым молодости, о том, что Бунин тогда в журнале «Возрождение» грубейшим образом обругал молодых поэтов, и они ответили возмущённым письмом в редакцию. «Но вскоре он переменил гнев на милость и стал любезен».

«Тогда же, – пишет Ю. Терапиано, – т. е. в 1925 г., появилась Г. Кузнецова. За ней стал ухаживать Гофман, но явился Бунин – и победил – если не ошибаюсь, в начале 1926 г. А Гофман написал в “Руле”, в статье о молодых поэтах: “Богом меченая Галина Кузнецова”, на что Ходасевич в “Днях”: “Если не Богом, то г-ном

Гофманом из «Руля»...» Ходасевич не терпел Гофмана по пушкиноведческой линии...»

Бунин не просто победил Гофмана, а сделал Галину Кузнецову своей близкой подругой. Она стала членом его семьи. В 1967 году в издательстве Русского книжного дела в США вышел в свет «Грасский дневник» Г. Кузнецовой, где она пишет: «...В простом, медленно разрушавшемся провансальском доме, на горе над Грассом... Бунины прожили многие годы. Мне выпало на долю прожить с ними все эти годы. Всё это время я вела дневник, многие страницы которого теперь печатаю...»

Эта публикация даёт много интересной и ценной информации о великом русском писателе. Есть там и забавные странички: «...Притчей во языцех ходил по Парижу рассказ: один из наших парижских поэтов презентовал Бунину, с почтительной дарственной надписью, свою новую книгу стихов. Лёжа в своей комнате на кровати, Бунин стал её перелистывать. В бунинской комнате почти всегда горел камин. И вдруг Иван Алексеевич, разразившись самой настоящей русской матерной бранью, швырнул книгу в огонь камина...» (26.XII.1928 г.)

Вера Николаевна Бунина ревновала мужа к «женской прелести» Галины Кузнецовой и даже из ревности стала кокетничать с молодым учеником и секретарём мужа, Зуровым, однако и Кузнецова, и Зуров продолжали жить под одной крышей с Буниными. Содержал всех Иван Алексеевич.

Так что и периодическое пребывание в «козьей хатке», в Медоне, Елизаветы Ионовой, и планы Елены взять с собой в Алма-Ату, для совместного проживания с Юрием Софиевым, Виктора Мамченко были обычным явлением в их среде.

ЛОВУШКА СУДЬБЫ

Вечерние сумерки входили в окна, как живые существа. Только бесплотные, полные туманной дымки, но всё равно – живые. Они отбрасывали тень. Кресло, укутанное в клетчатый, старый плед, было уютным. Юрий так хорошо угнездился в нём, что сладкая дремота медленно овладевала им, как хитрая женщина. И вот уже он не понимает, где явь, где сон, где фантазия. Видит себя полуразрушенной, восточной крепостью. Но стены этой крепости всё ещё крепки, не поддаются ветру и талой воде. Стены – из речной глины, замешанной на яичных желтках, скреплённой жёстким конским волосом. Они выдержали атаки степных кочевников, ночные пожары, заброшенность и одиночество.

Да, он ощущал себя этой крепостью, но и человеком, который ходил по руинам. Он ясно видел своё лицо, но не теперешнее, в подлых морщинах, а молодое, тридцатилетнее, загорелое от воздуха, который всегда весело обдувал его, когда он нёсся на велосипеде. Велосипед и теперь стоял рядом, прислонённый к сохранившейся чудом купальне – пол её был выложен яркими изразцами. Синий и зелёный орнамент.

Тут увидел Юрий в стенной нише высокие керамические хумы – с маленькими ушками у горла. Они стояли, упираясь острыми концами в закаменевшую глину. Он стал рассматривать эти сосуды. Их было 65 – по числу его лет. Шёл, заглядывая в каждый: пусто, пусто, пусто... Раньше хранилось в них масло и другие домашние припасы. Всё выветрилось временем, всё иссохло. Только

песок осел на дне. В песке копошились мелкие козявки, упавшие сюда нечаянно. И вдруг он увидел два чудесных кувшина – живых. Они излучали свет. Они стояли отдельно от остальных сосудов. В них Юрий обнаружил жито. Пшеничные зёрна – целые, не тронутые разрушением. Юрий читал где-то, что в Египте находили такие сосуды с пшеницей, и пшеница эта сохранила жизнеспособность. Он зачерпнул горсть зёрен, они просыпались на землю – и тут же дали всходы. Зелёные ростки стремительно заполнили всё пространство крепости, перелились через крепостной вал и выплеснулись в весеннее поле. Радость, первобытный восторг захлестнули Юрия, и он, раскинув руки, закричал: «А-а-а!» – и услышал своё эхо. Оно докатилось до синих гор, которые висели в утреннем воздухе лёгкой дымкой. И тут осенило Юрия: да ведь эти два кувшина с житом – это ведь Ирина и Елена. Они и стоят рядом: в полуразрушенной крепости – в сердце его...

...Шли годы. Неумолимо подступала старость. Стиралась память. Многие чувства увядали, успокаивались. И только любовь к Ирине не иссякала. Только Елена Люц не уходила из его сердца. Она по-прежнему оставалась для него самым близким и самым желанным человеком, хотя надежда на встречу становилась всё более призрачной.

Вот тетрадь Юрия Борисовича за 1965–1966 годы. Письмо к Елене Люц.

«Дорогая моя Лена!

Наши письма разошлись на несколько дней... Не сговариваясь, может быть, от приближения нового года, мы оба затронули в них тему о счастье. Я боюсь, как бы не впасть в фальшивую риторику в этом письме. Хотелось бы найти спокойные и обычные слова, но которые бы верно и точно выразили мои чувства, мои переживания. Всё, что Ты пишешь, – от большого душевного благородства и от большой любви, но, тем не менее, и безнадежное, тот тупик, в который Ты уперлась.

И вместе с тем, зная Тебя, я ничего не могу возразить на Твою фразу: “Не привычка, но боязнь перемен, а чисто материальное неблагополучие и взятые на себя моральные обязательства приковали меня к месту”.

Я знаю, эти факторы будут действовать до конца наших дней, именно последний, т. к. Тебе одной всегда хватало материальных средств, чтобы приехать ко мне, и именно этим моральным обязательством по отношению к В. и твоей матери мы и приносим в жертву нашу судьбу, наше личное счастье.

Позволь мне оглянуться назад и, может быть, внести ещё один немаловажный фактор, сыгравший роль в наших отношениях, в нашей судьбе.

Ты помнишь день, когда нас жизнь связала?

– Вот четверть века протекло с тех пор...

Теперь уже перевалило за 30 лет. И почти с тех же пор в Твоём отношении ко мне, в Твоей любви, присутствовали два чувства. Я помню эту фразу, сказанную Тобой, тоже четверть века назад: «И всё-таки никогда я тебя не выпущу из моей судьбы», и второе, никогда Тебя не покидавшее – глубокое недоверие ко мне. Увы, вполне оправданное не только моим поведением, но и всей моей натурой.

Вероятно, в «Певчем часе» В. (В. Мамченко, книга, изданная в Париже, «Певчий час». – Н. Ч.) это стихотворение посвящено нам:

Ледяная и живёт
Та судьба кострами.
Не иди, когда зовёт
Лёгкими перстами.

Я должен признать, что этот образ Виктора найден удачно. Много было в моей жизни этих костров. Но вот что следует заметить – я не разводил эти костры, я не лгал, я сам горел этим огнём, испепеляясь на жизненном ветру, этот огонь захлёстывал меня.

И так – чтобы всего себя отдать
(Иначе мелко всё и всё ничтожно),
И так, чтоб мучиться, и так, чтоб ждать...
Нет, для меня иначе невозможно.

Горе, конечно, в том, что пламя палило и другие души. Но костры, как и полагается кострам, сгорали и рассеивались пеплом. И когда я оборачиваюсь на мою судьбу, то ясно вижу, что через всю мою жизнь и по пятам этого пепла проходят две женщины, не опалённые и всегда живые – Ирина и Ты. И как-то только с Тобой и Ириной и связывается, и вспоминается эта жизнь. Только два ваших образа оказываются слитыми понятиями жена-любовница-друг, т. е. самый близкий, самый любимый и необходимый человек на свете...»

Он корит себя за предательство, когда уходил от любимых к другим женщинам, и винится перед памятью Ирины, перед сердцем Елены:

«Но теперь, когда мы оба стоим “у края надвигающейся ночи”, всё временное и случайное развеяно ветром времени, а осталась та подлинная, настоящая близость, которая как бы скована цементом очень долгих лет.

И вот я думаю, что самым роковым в наших отношениях оказалось это недоверие, ибо именно оно помешало Тебе в своё время разрубить этот гордиев узел, оставить В. и связать свою судьбу с моей...

...Когда Ты пишешь о новом личном счастье у границы моих преклонных лет, Ты понимаешь, родная, что это не то же самое, что освоиться в новых условиях жизни. Я не чувствую себя стариком, но на “личное счастье” у меня не только нет сил, но это, вероятно, просто и невозможно... На этот счёт не стоит строить иллюзий. Здесь одиночество, вероятно, станет неизбежным делом...

Сейчас как-то трудно мне думать о будущем, как-то очень настойчивы стали одинокие ночные мысли о “склоне лет”, всё неувереннее думается о завтрашнем дне...»

Если Елена и ревновала Юрия к Раисе Миллер, то после этого письма и неудачной попытки Раисы Николаевны женить его на себе Елена могла бы торжествовать, если бы у неё на это были силы. Жизнь загнала её в такой тупик, что ни о чём другом она думать просто не могла. Надо было выживать и вытягивать к жизни Виктора!

А неугомонная Рая готовится к новому штурму. Она пишет письмо Виктору Мамченко, в котором сообщает о своей поездке в Алма-Ату и, видимо, просит о встрече, с тем, чтобы взять письма для Юрия.

Отвечает Раисе Николаевне Елена Люц.

«06.08.67 г.

Уважаемая Раиса Николаевна! Письмо ваше Виктор Андреевич получил, но увы, не может Вам ответить. У него, вследствие злого инфаркта, паралич всей правой части тела и языка. С трудом его спасли от смерти, после месяца, проведенного в госпитале. Визиты ему строго запрещены врачами, так как малейшее волнение может ему быть фатальным. Предполагаю, что он был бы очень счастлив знать, что вы уезжаете к Юрию и что получили семейную визу на два месяца.

Будьте здоровы, бодры, не волнуйтесь далёкому пути. Будьте так добры, сообщите Юрию о постигшем нас горе.

Дружески Ваша – Лена Мамченко-Люц».

Сухое, почти официальное письмо, хотя с Раисой Николаевной знакомы они давно и довольно коротко: она бывает в их доме, она тоже друг Юрию Софиеву. Вот именно – друг, и не просто друг, а бывшая любовница, а может, и нынешняя, или «жена», как называла интимных подружек Юрия Елена Люц.

«Я не спрашиваю, с кем ты живёшь или у кого. Я должна знать: как ты живёшь?» – писала она ему. И в другом письме: «А твоя новая жена не найдёт мои письма и не сообщит о них своему мужу? Уничтожь их!»

Елена принимала этих «жён» как неизбежное зло и не видела в них особой опасности для себя. А вот Миллер – та опасна. Прилипла к Юрию намертво, докучает ему, душой его овладевает. Напор у неё мощный. Юрия это утомляет и даже раздражает, но из деликатности, из слабохарактерности он терпит, считает Елена. Она слегка презирует Миллер. Смотрит свысока. И в то же время даёт понять, что ей всё равно, ведь у неё, у Елены – в отличие от Раисы – есть муж, которому она предана, потому и подписывается: «Мамченко-Люц». А когда пишет, что Виктор «был бы очень счастлив знать, что Вы уезжаете к Юрию и что получили семейную визу на два месяца», то тут, возможно, кроется горькая усмешка: ведь именно Виктор всячески способствовал соединению Софиева и Раисы Миллер, которому Юрий сопротивляется, потому что любит её, Елену, именно Виктор стремится развести свою жену с Юрием.

Того же хотела и Раиса Миллер – развести их. На этой почве они с Виктором, похоже, и сблизились.

Думаю, Раиса Николаевна эту горькую усмешку соперницы поняла, но и сама, наверное, смехнулась в ответ: несмотря на все отречения Юрия и уверения его, будто Раиса ему нужна только как друг, она будет с ним. Они поженятся. Да, она будет с ним! Елена больше не сможет ей помешать. Елена прикована к Виктору его параличом. Он хоть и слаб здоровьем, но цепкий, за жизнь цепляется крепко. Долго может протянуть даже в таком состоянии. При хорошем уходе люди иногда и до десяти лет лежат в параличе. Жаль, конечно, и Виктора, и Елену. Очень жаль... Но – так распорядился Господь!

Раиса Николаевна перед поездкой, наверное, зашла в церковь, свечку поставила святому угоднику Николаю – покровителю странствующих, Богородице

помолилась – за семью свою, которую оставляла надолго. Так делали русские. И с облегчённой душой стала собираться в Алма-Ату.

* * *

Только через год возобновится переписка Елены и Юрия. Елена была поглощена выхаживанием Виктора, то – впадая в отчаяние, то – оживая и молясь молясь о прощении грехов своих.

А в это время и Юрий Борисович заболел. Он стал падать в обмороки. Подолгу лежал в больнице. Он никому не писал.

«03.05.68 г.

Дорогой Юрий, что же случилось? Отчего ты не пишешь?

Виктора здоровье очень, очень медленно улучшается, но так медленно и с такими неожиданными вспышками болезненных явлений, что я начинаю терять надежду...

И вот так изо дня в день, то кажется: улучшение, то опять непредвиденные осложнения.

Он всё по-прежнему не говорит, лежит – нога немного двигается, а рука всё так же бездвижна. Два раза он начал петь – один раз что-то церковное, а второй – из “Евгения Онегина” он пел, пропуская все слова, потом оборвал.

Обо мне писать нечего: два раза в неделю хожу на базар. Ел. Вл. (Ионова. – Н. Ч.) в это время сидит с Виктором, и он её усиленно угощает вином. Встаю в половине шестого утра: лекарство, туалет, чай, массаж и гимнастика. Подымаю Виктора и усаживаю за стол... Только два с половиной месяца, как Виктор ест самостоятельно. Слушает информации. Когда не спит и не слушает информации, я ему читаю книги – прочли уже уйму: и Фадеева, и Паустовского, Коптелову, Панову, Некрасова и ещё много других. Сейчас принялись за 9 томов Бунина. Я не понимаю, почему, но Виктор хорошо видит малейшую точку, а читать не может (будто забыл алфавит).

Всё же пиши, что бы ни было, но пиши. “Чем дальше, тем труднее”, но ведь мне ещё намного труднее. Много нехороших мыслей приходит в голову: обиды, несправедливости, одиночество (оно давно – с октября 1955 года), а ведь будто я знала, что всё это нужно, нужно, чтобы не упрекать себя в эгоизме, чтобы не упрекать себя и не винить, что это из-за меня – с Виктором такое несчастье.

Вот, Юраш, и все новости.

Пиши о себе. Перешёл ли на пенсию?

Целую. Лена».

«31.08.68 г.

Дорогой Юрий, получили твои две открытки, но это не ответ на наше письмо.

Где ты сейчас? Отчего тебя никак не могут по-настоящему вылечить? Ты что-то скрываешь. Может, условия твоей жизни нужно переменить? За водой нужно ходить? Отопление тоже должно тебя утомлять, да и стряпня, уборка. Я понимаю, как тяжело оставить нажитое место – главное, твой сад, но тогда нужно, чтобы кто-нибудь жил с тобой или занялся тобою.

Здоровье Виктора улучшается, но рука ещё не действует... Мы с ним ходим вокруг нашей комнаты, дошли до 10 раз – это около 300 маленьких шагов. Он всё чаще находит нужное слово. Доктор уверен, что он сможет не то что ходить и говорить, но и писать стихи. Это ещё в далёком будущем, а пока что с половины двенадцатого он лежит в постели и слушает чтение (теперь Ел. Вл.) или различные разговоры и истории.

...Сейчас у нас полная тишина, т. к. вилла опять пустует, и мы не знаем, будут ли её сдавать или продадут и попросят нас выбраться из нашей “козьей хатки”. Последние жильцы были милыми и отзывчивыми, но дети горластые и уничижающие всё и вся.

“Последние новости” начнут издаваться в первых числах сентября, долгое время газета не выходила. Погода у нас причудливо-непостоянна: то жара, а то неожиданно холод. Уже две недели, как топлю и днём, и ночью. Поставили электрический радиатор, нажмёшь кнопку – и стало тепло.

Пиши, буду отвечать, а не напишешь – буду молчать и я. Целую. Лена».

«14.03.69 г.

Дорогой Юрий, наконец-то пришло письмо! Правда, письмо не радостное, но всё же спокойное, зная, что у тебя есть близкая, своя семья. Было бы хорошо, если бы ты мог жить с ними или хотя бы поблизости и в устроенной, с удобствами квартире. Я хорошо понимаю прелесть домика с садом – но с возрастом, иногда, приходится отказаться и от красоты, и от многого, что было дорого в юности...

Виктору лучше. Читать он не может, не может даже перечесть написанное им самим, но переписывает хорошо и даже буквы пишет по-своему. Замечает точки и запятые. Память у него есть, поправляет неправильности ударений. Не нужно забывать, что в продолжение года я его кормила с ложечки...

У нас бывают: Ел. Вл. Ионова и Елизавета Владимировна Мореходова, иногда Брянский. Ему сейчас 74 года, всё работает, но ноги совсем не держат. Один раз была Прегель, два раза – Горская и четыре – дочь Зайцева (*Борис Зайцев, известный русский писатель, Прегель – поэтесса. – Н. Ч.*). Из советской колонии бывает Виктора друг Голелович, работающий в Пастеровском институте, в этом году он получил премию и зачислен членом Академии. К несчастью, жена его в противоположном лагере. Бывает Лошкарёв, наш Медонский тоже советский подданный. Он получил первую премию от “Голоса Родины”.

Теперь, Юрий, о твоём сборнике. Ты не первый и, конечно, не последний, чьи произведения лежат под спудом. Об этом часто пишут в “Лит. газете”. В твоих размышлениях о нашей жизни – ты прав, но это знаем только мы, но сколько вернулось вовсе не такими зрелыми и добронастроенными. Нам всегда кажется, что наша жизнь понятна и посторонним людям, а на самом деле оказывается противоположное, и как часто узнаёшь, что тебя судят и обвиняют, переворачивая всё на свой лад...

Виктор и я тебя целуем. Лена».

Две приписки на полях:

«1. Очень рада за нашу Иринушку, выступить и читать стихи ты, конечно, сможешь, твоя “гнилая” температура вполне нормальна, а “склероз мозга” – произведение пессимиста. Сборник стихов – дай напечатать на машинке и пошли тому же Смирнову или двоюродному брату Иры (имеется в виду, наверное, Де-

ментий Шмаринов. – Н. Ч.). Отложи твоих клопов и бактерий и займись этим, а если не хочешь, попроси Любу. (Так она почему-то называет Людмилу Лезину, поэтессу и очередную жену Игоря Софиева. Никто из них заниматься делами Юрия Борисовича не стал. Литературным наследием отца и матери сын их, Игорь, занялся только спустя много десятилетий после их смерти, когда это стало возможно на родине, когда был окончательно снят запрет на всё, что касалось эмиграции и Белого движения. – Н. Ч.).

2. Не удивляйся, что твоя статья из «Голоса родины» перекочевала в «Р. Н.» («Русские новости». – Н. Ч.): всё, что есть интересного в советской печати, они перепечатаывают – в этом и состоит газета. Знаешь ли ты, что Зинаида Шаховская редактор «Р. М.» («Русской мысли». – Н. Ч.)?»

«...Дорогой Юрий, сегодня получила твоё письмо. Числа я не знаю – нужно зажечь свет, но Виктор спит. Я пишу в моей комнате – свет отгорожен занавеской. Да, Юрий, никогда мне не приходило в голову, что может быть такой кошмар! 12 июня Ел. Вл. Ионова вызвала меня (по телефону) – доктор потребовал, чтобы я моментально приехала домой (было 5 часов вечера), т. к. Виктору плохо. Через 2 часа я была в Медоне, доктор предупредил, что из трёх только один шанс, что Виктор выживет. Приближались экзамены моих стансьерок (15 учениц), но на работу я больше не вернулась, 24 июня у Виктора наступило ухудшение. Кризисы, несмотря на уколы морфия и опиума, длились около 8 часов – он скрежетал зубами, стонал. В госпиталь доктора помещать его мне не советовали. Потом – после 24-го – наступило лёгкое улучшение, а 2 июля в 5 часов вечера я его везла в госпиталь со страшной рвотой – вся правая сторона парализована – отнялся дар речи. В госпитале мне сказали, что инфаркт сейчас. И внутренний, и внешний. В продолжение 16 дней ему делали внутривенное вливание – непрерывно. Пищи он не получал. Целые дни проводила в Версале и то начинала верить, что он выживет, то приходила в отчаяние. Ионова была со мною – 24 июня умерла её мать. Ты можешь себе представить, в каком она была состоянии.

29 июля я взяла Виктора домой. Он пробовал вставать, два раза упал с постели – один раз днём и другой раз ночью. Я совсем растерялась... Речь не возвращается, он говорит: “Откуда, откуда, откуда” – и этим излагает все свои желания. Увидел комара: “Откуда, откуда?” Читай: “Откуда, откуда” или – “Я, я, я”, – с интонацией, но без всякой связи с тем, что он хочет сказать. Иногда начинает кричать и готов разрыдаться. Мореходова мне помогает, приносит провизию.

Я тоже начинаю забывать слова. Читаю вслух газеты и книги, Виктор слушает и понимает, но, по-моему, сейчас же забывает о прочитанном. Лежит он пластом, кормлю из ложечки.

Юрий, об этом письме никому не говори – не нужно, чтобы кто-то знал. Скрой и от Николай Николаевича. О твоём письме я не скажу Виктору, т. к. некоторые его подробности об Р. (видимо, Раисе Миллер. – Н. Ч.) чересчур интимного характера и, конечно, не могут не навести на мысль о наших с тобой отношениях.

А ведь Р. собиралась приехать не именно на каникулы. Она говорила Виктору, что была твоей женой ещё при жизни Ирины – рассказывала всё, не таясь, любит она тебя, и любит по-настоящему. Нехорошо всё это получилось, но и понятно – чересчур всё понятно, и поэтому о твоём письме я умолчу, а ты сейчас напиши Виктору, пиши всё, что хочешь, но ему, не мне.

Волновать его никак нельзя, а он и до сих пор крайне подозрительно относится к моему отношению к тебе.

Сегодня Виктор нервничал, капризничал, но с начала его заболевания сегодня мне стало немного легче – вот так, как раньше, когда было очень тяжело, но я знала, что придёт воскресный день – и что в этот день мне будет хорошо и радостно.

Какая страшная, какая жестокая жизнь, и почему, почему, за что она так безжалостно, так беспрерывно терзает, мучает, издевается!

Юрий, родной, ведь я же знаю, что прежним Виктор уже никогда не будет – его инфаркт (вернее, сгусток крови) очень крупный. При малейшем усилии, волнении наступит конец. Да, хорошо, Юрий, что я смогла перебороть себя, что я сейчас рядом с ним, но смогу ли вытащить его из этого полузабытья?

Иногда кажется, что мы вместе с ним в гробу. Тихо ночью, очень тихо. Виктор стонет – я приподнимаюсь, слушаю, засыпаю и опять просыпаюсь – тихо, дыхания не слышно, вскакиваю, нагибаюсь к его постели, слушаю, и вот так все ночи.

Пиши, Юрий, пиши, не откладывая. Письмо буду читать я или Ионова, так что пиши, забыв об этом письме – пиши на имя Виктора. Я всё пойму.

Целую. Лена».

«...Дорогой Юрий, наконец-то пришло от тебя письмо. Не знала, чему предписать такое длительное молчание! Мне кажется, что молчанию причина не только в твоей болезни. Ну, да это не так важно.

Я тебе написала три письма. Писала о твоих стихах в “Просторе”, радовалась вместе с тобою, стихи очень хорошие, и не нужно тебе сомневаться. Виктору они тоже понравились, конечно, сказать об этом он не мог, но кивал головой и улыбался. Не удивляйся письму Ел. Вл. (Ионовой. – Н. Ч.). Это Виктор просил её тебе написать, т. к. в мои способности он мало верит.

Теперь о Викторе – он всё так же не говорит и продолжает лежать. Он заболел воспалением лёгких. Это длилось месяц. Потом начались забастовки, время было очень тревожное, ни почта, ни метро, ни поезда не ходили. Ел. Вл. тоже застряла в Париже. Всё это Виктора очень сильно волновало. С ним случился припадок. Я услышала крик. Здоровая рука билась – один глаз закрыт, другой широко открыт, два-три выдоха, голова беспомощно повисла. Я была уверена, что он умер. Позвала соседей, чтобы вызвали доктора. Так как терять было нечего, сделала ему укол камфары, и вдруг он улыбнулся. Когда пришёл доктор, кризис совсем прошёл. Доктор не тот, что его обыкновенно лечит, а дежурный. Он оказался русским. Он дал мне ещё одну ампулу, которую (в случае такого припадка) нужно сделать через полчаса после камфары. Видишь, Юрий, в какой обстановке проходит время. Если мои письма пропали, т. к. попали в чужие руки, то плох тот человек, который их утаил от тебя. Ты работаешь или перешёл на пенсию? Ионова, теперь m-me Hall (она разведена), тебе напишет о парижских новостях, кроме неё и Мореходовой я никого не вижу. В последнем номере “Русских новостей” прочла об успехах Кобякова – он стал лингвистом и уже издал несколько книг. Оказывается, по образованию он инженер! Где он сейчас? Правда, что он ослеп и оглох?.. (Дм. Кобяков жил в Барнауле. – Н. Ч.)

Целую крепко, не ленись, пиши. Лена».

Две приписки на полях:

«1. Нам часто пишет В. Прилепский (Иван Прилепский, бывший эмигрант, вернувшийся в Россию, тоже поэт, но весьма посредственный. – Н. Ч.), очень

волнуется о здоровье Виктора, даже всполошился, как и на какие деньги мы живём, он очень внимателен и трогателен в своих письмах.

2. Что говорят доктора? Что у тебя с сердцем? Невроз? Обзор журнала Терапиано, стихи Ирины и Любы (*Людмилы Лезиной*. – Н. Ч.) были пересланы, но в газете, где он печатается, даже если и напишет, вряд ли напечатают – она сейчас издаётся на деньги Ф.Р.Г. (*Свой обзор “Простора” Терапиано переслал в редакцию журнала, в Алма-Ату*. – Н. Ч.)».

«25.08.68 г.

Дорогой Юрий, почему же ты не пишешь?!

Если бы ты знал, какое у меня постоянное нервное напряжение, ты бы писал. С 29 июля Ионова с утра и до 8 часов вечера у нас. Сидит она в кресле, вприкурку к Виктору – читает ему. “9 томов Бунина” – это звучит нормально. Иногда хорошо, с чувством, но когда приходит газета, у меня начинается крапивница, настолько она мямлит и тянет, тянет монотонно, точно выползает глист. Когда я ухожу за покупками, она старается, рассказывает свои выдуманные несчастья. Не забудь, что рядом всегда стакан вина (в общем, не меньше литра в день). У неё настоящий талант преувеличения – когда она входит в “транс”, у меня начинают дрожать руки. В один из таких “транс” Виктор совсем зашёл: конвульсии, стал совсем белым – длилось 20 минут, пока не пришёл в себя. После этого припадка он ещё два дня очень трудно понимал даже самое простое. Вот так, Юрий, я и живу. Сейчас пишу в садике – слышу чтение. Виктора, сейчас, лечит другой доктор – выходец из России, по его словам: “с возрастом становлюсь всё краснее”, уже одно это приятно. Он меня уверяет, что Виктор поправится, но что-то уж медленно он поправляется. Сейчас он может держаться на ногах 5 минут. В руке есть маленькое дрожание пальцев, есть и сопротивление. На этом я закончу часть письма, о которой ты сейчас же забудешь. Виктор всё ждёт писем – пиши ему. “Простор” получили – поздравляю с достижениями на литературном поприще, очень и очень рада, что тебя, наконец, печатают – но какая разница: твои стихи и лепет рядом.

Посылаю тебе статью Смирнова об Ирине, она напечатана в “Русских новостях” от 16 августа 1968 года. Нам повезло, газета пришла в исправности, а вот Мореходова её получила с четырьмя совершенно белыми листами. Ты, конечно, знаешь о событиях в Чехии? У нас, по радио, беспрестанно передают сводки нелегальной чешской радиостанции, а потом, через час-два, мы узнаём, что Слобода был встречен пулемётной стрельбой. Если только правда, непонятна реакция французской компартии – но, я давно заметила, они очень и очень мало следят за событиями. Я знала о происходящих приготовлениях из «Литературной газеты». Как видишь, я всё же живу и ещё хорошо помню лекции Рибара. Да, голова ещё работает, но в зеркало стараюсь не смотреть, уж очень непривлекательный в нём силуэт. Я спрошу Мореходову, можешь ли ты, “изредка”, посылать ей письма для меня и только для меня, т. к. даже самое безобидное, но адресованное мне письмо очень трудно читать вслух, да ещё при третьем лице.

Начинается дождь, а в доме писать негде.

Юра, мой Юра, береги себя – хотя бы для меня, для одной моей мечты, что я тебя увижу.

Целую крепко. Лена».

«19.01.69 г.

Дорогой Юрий, почему ты молчишь? Может, ты болен? Получили “Простор” и книги стихов. Грустные стихи Ирины, и её портрет. Нет её больше, и от этого мучительно сжимается сердце. Нет и Николай Николаевича... И ты молчишь. Виктор продолжает лежать, говорить он не может. Я ему читаю книги, газеты – он слушает, но потом кивает головой, что значит: перескажи своими словами. Самое страшное, когда он силится что-то сказать, а я не понимаю (ведь слова не соответствуют и не всегда обозначают то же желание), жесты, которыми он старается объяснить, ничего общего с тем, что он хочет, не имеют. Вот тут и начинается: он кричит, пока не начинает задыхаться и кашлять. После таких приступов у меня голова отказывается работать, руки дрожат, мне кажется, что в такие минуты я способна на любой сумасшедший поступок. Иногда, на кухне, я начинаю рвать тряпки, полотенца, выворачиваю себе пальцы, чтобы не выть по-звериному. Страшно то, что если я не выдержу, что будет с ним, ведь он даже есть не может один.

Вот, Юраш, и пришла старость – не тихая, не мудрая. Знаю теперь, что Виктору я, как человек, как друг, – не нужна уже давно. Вот, подумай, что должно быть у него на душе, ведь друзья его не с ним, у каждого своя жизнь. И, конечно, “любовь” не для него, если его и любят, то для себя. Вот, ночью, просыпаюсь и думаю, и мне не жалко, что жизнь приходит к концу, не жалко покинуть её, эту, земную, жизнь. Жаль только одного, что моя пенсия прекратится сразу же, а как же тогда, без денег? Ведь “друзья” за семь месяцев собрали всего-навсего 700 новых франков, т. е. 70 000 старыми, а один госпиталь стоил 230 000 франков. Такое щедрое подавание я положила в карман Виктора пиджака – я бы с удовольствием вернула их по назначению, но ведь это не мои деньги, и не для меня, и не от моих друзей, а от друзей Виктора и Ионовой. Сложно, правда, очень всё это, запутанно и сложно. Прости, родной, что пишу тебе всё это, но ведь сказать это я могу только тебе. Ты меня знаешь больше других, да и нужно мне с тобой поговорить, как когда-то, когда у нас была возможность дышать и радоваться украденному у жизни счастью. Ты скрытен, скрытна и я (возможно, из гордости), вот мы и понимаем друг друга. Это письмо останется без ответа, мне даже и писать некуда, т. к. мои две Елизаветы (*Ионова и Мореходова. – Н. Ч.*) ташут письма и суют их Виктору, а Ионова распечатывает и читает, не спрашивая моего разрешения. Она сейчас, как лунатик, хлещет вино и заплетающимся языком плетёт всякую чушь – Виктор доволен, смеётся.

Вот, милый, и картина моей жизни. “Простор” мне понравился, если тебе не трудно, пришли следующий номер. Поздравляю с успехом. Очень рада, что ты, наконец, попал в среду казахских поэтов, теперь всё пойдёт на лад. Стихи твои хорошие, а вот у жены Игоря (*у Людмилы Лезиной. – Н. Ч.*) это ещё только поиски, но мне кажется, что она талантлива. Очень рада за Игоря, наконец-то он нашёл человека. Всё же, Юрий, пиши о себе, не ленись, ведь если бы меня не было, ты бы писал Виктору. Вот и пиши, как писал ему раньше.

Целую. Лена»

«17.08.69 г.

Друг милый, как сейчас твоё здоровье? Сколько несчастий на свете. Счастье возможно в большой человеческой дружбе. Люблю, желаю много здоровья.

Виктор».

Дальше письмо продолжает Елена Люц. Она рассказывает о состоянии Виктора, который уже может сам написать несколько строк, чем Елена очень гордится, и подробно спрашивает о здоровье Юрия. Юрию сделали операцию. Он теперь ходит с трубкой в боку. Он – красавец, «страшный демон», любимец женщин! Юрий стесняется говорить о своих немощах, стыдится тех медицинских процедур, которые производят с ним доктора, стыдится их повышенного внимания к своей персоне. Елена, как медик, объясняет ему естественность событий и утешает тем что подобную операцию перенёс и Де Голль, и ничего – живёт!

«Дорогой Юрий, не поняла – о каких медицинских (унижающих) услугах ты говоришь? Больной, всегда, беспомощен, как ребёнок, и весь медицинский состав это знает, и так же, как ребёнку, кроме заботы и желания сделать лучше и менее больно, никакого другого чувства быть не может. О последствиях, не думаю, чтобы стоило волноваться. Ты вспомнил твоё ранение? Отчего ты не писал – до твоей болезни? В какую экспедицию поехал Игорь? Что собираешься сейчас делать? Где будешь после больницы? Положи письмо перед собой и отвечай.

Виктора здоровье улучшается, но с невероятной медленностью...

...Был Н. Татищев. Он такой же нелепый болтун. Спорила с ним горячо, но не повздорила – помогли лекции Рибара и экономическая политика, да и “Голос родины”, и “Литературная газета” сильно помогают разобраться в событиях и не молоть отсебятины.

Юрий, нужно серьёзно и радикально заняться здоровьем, сейчас медицина так шагнула вперёд, что если человек сам не делает глупостей, то 100-летие ему обеспечено.

(Сама она собственным здоровьем не занимается, и дни её сочтены. – Н. Ч.)

Итак, отвечай и задавай вопросы – буду отвечать.

Видим: Тартуна, Гривцеву, Бряславского, Ирину Туроверову, дочь Зайцева и, конечно, Мореходову и нашего “зайца”, Елиз. Вл. Ионову (теперь мадам Галл). Пиши. Целую. Лена».

«08.09.69 г.

Ну и настрадался ты, бедный. Теперь всё пойдёт хорошо. Пиши нам, не забывай. Привет ото всех друзей. Крепко целую. Виктор.

Дорогой Юрий, если ты вспоминаешь о своём пребывании в больнице с такой горечью, то боли были действительно трудно выносимы... Вместо вина нужно пить чистый виноградный сок. Это лучшее средство для циркуляции крови.

...Мы с Виктором с сегодняшнего дня одни. У Ел. Вл. внук первый день пошёл в школу, и теперь она занята...

Пиши, не заставляй волноваться. Целую крепко. Лена».

Окончание следует.

